

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВ

ИЗ ТОГО ЛИ
ТО ИЗ
ГОРОДА...

Сергей Тимофеев

Из того ли то из города...

«Остеон-Групп»

2019

Тимофеев С. Н.

Из того ли то из города... / С. Н. Тимофеев — «Остеон-Групп» ,
2019

ISBN 978-1-77246-421-4

Представляем читателям роман, созданный по мотивам русских народных былин, песен и сказок, посвященных одному из самых известных героев русского народного эпоса – Илье Муромцу. Можно сказать, что это его «жизнеописание», переданное в жанре фэнтези. В роман вплетены былички, фрагменты русских народных песен. Там, где это оказалось возможным, происходящие в романе события соотнесены с реальными событиями Русской истории. Описания городов и быта даны в соответствии с историческими документами. Несмотря на то, что некоторые моменты могут показаться отступающими от канона, – на самом деле, они представляют собой некоторую переработку мало известных вариантов былин. Автор очень старался подобрать язык изложения, который бы соответствовал материалу, послужившему основой для романа.

ISBN 978-1-77246-421-4

© Тимофеев С. Н., 2019
© «Остеон-Групп» , 2019

Содержание

1. Был у батюшки, у матушки один сынок...	5
2. По свету хожалые, люди странные	12
3. Вы леса мои, лесочки, леса темные...	34
4. А высокие-ты горы Сорочинские...	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Сергей Тимофеев

Из того ли то из города...

(То ли была, то ли небыль)

1. Был у батюшки, у матушки один сынок...

Расправила плечи могучая река, миновав излучину; на полверсты, а то и поболее, раздвинула поросшие лесом берега. Это сейчас, в летнюю жару, на полверсты, а весной, во время паводка, и на все две. Глянешь сверху, с холма – величественная, спокойная, протянулась широкой, сверкающей на солнце лентой, в даль; а вниз спустишься, к самой воде – стремнина. Кружит водоворотами, едва успокаиваясь омутами, и снова торопится. Не каждый решится вступить в схватку с бурным течением; играючи подхватит поток лодку, закружит да и понесет неведомо куда. И как только справляются с ним водяной и водяницы, облюбовавшие прибрежные бочаги? А таких здесь – не пересчитать. Главное – заметить: где кубышки над водой желтыми головками покачивают, сгоняя назойливых стрекоз, там мелководье, а где белоснежные кувшинки звездами по воде рассыпались, лучше то место не тревожить.

Под стать реке и рыба. Глянешь иногда, темнеет что-то в заросли речной, будто бревно-топляк течением вынесло. Ан нет, не бревно, щука-травянка саженная в траве притаилась, добычу поджидает. Сделаешь движение неловкое – и нет ее, пропала, словно и не было. А то леж пудовый золотым боком вывернет; поди, узнай, что ему там на дне речном не сидится, али с солнышком решил красотою померяться? Или вот, говорят, сомы в омутах прячутся. Такие, что зазеваешься, не токмо теленка или жеребенка, но и пловца, и рыбака незатейливого на дно уташат. Правда, как начнешь расспрашивать, то как водится: один на другого кивает: сам не видал, не знаю, а вот брат, сват, кум, или просто мужик какой проезжий – они как раз видели, врать не станут... И еще, сказывают, аж из самого моря Хвалынского чудо-рыба заходит. Длинной саженей в пять, весом – пудов в пятьдесят, вся как кольчугой костяной покрыта. Ничем такую не взять, даже копыя от нее отскакивают... Может, есть такая, а может, байки досужие.

Велика сила у реки, но все ж таки и на нее управа находится. Задуют ветра северные, станут ночи удлиняться, а дни укорачиваться, сбросят деревья листву, и пожалует в гости Мороз Иванович. Иной избу задумает поставить, не даст сруб до нужного времени на усадку – глядишь, через год косяки пошатнулись, окошки – что бочки, перекосилась изба, ровно старик столетний. Не то – мороз. Не торопясь, основательно, сначала по окраинам прибережным, где помельче да течения нету, воду льдом схватит; попробует – как, крепко? Потом далее, к стрежени. Беснуется река, выплескивается на свежий лед, хочет его поломать да смыть, но не тут-то было. Этот строитель – всем строителям строитель. У него не забалуешь. По весне – сколько угодно, отроковица она еще, сама созорничать не прочь. Леля...

Есть еще одна речка, меньшая. Но вот что удивительно, меньшая-то она меньшая – петляет себе среди холмов, в ином месте перейдешь ее – и не заметишь, только во время дождей и вспоминаешь, что есть она на свете белом, – а зовется уважительно, Агафьей. Иные Непереклой кличут, да уж больно слово какое-то мудреное, ничего не значащее. Ни русское оно, ни половецкое. Добро бы репей было, тогда понятно. По берегам ее столько добра этого водится – не счесть. На радость ребятишкам. Поди плохо набрать тайком репья побольше, да дружку своему к рубашке али портам прицепить... Название же вот откуда пошло. Рыбка в речке водится в изобилии. Маленькая совсем, с палец, но юркая – не ухватишь. Мечется стайками, будоражит водную гладь, – то ли серебром на солнце играет, то ли еще что, ровно девчушки. Вот и назвал их кто-то – агашками. От них и реке прозвание дали, – тоже Агашка. Потом, правда,

спохватились. Разве можно к реке так неуважительно, даром что малая... И исправились: Агафьей величать стали.

Правый берег – холмистый, в отличие от левого. – Это опять о большой реке слово молвится. – Левый – пологий, сколько видно – поросший лесом. Но там, далеко за лесом, Дикое поле, откуда время от времени приходят гости незванные. Кровью текут тогда речные воды...

И то сказать, на правом берегу тоже не сладко приходится. Как понаедут тиуны посадские на полюдь взимать подати с сохи, солью река течет, слезами людскими...

Ну вот, вроде бы все о реке и сказано.

Холмы, что на правом берегу – все сплошь лесом покрыты. Диким лесом, таким, что ежели взобраться на самое высокое дерево да глянуть – конца-края ему не видать. Зверьем изобилен, грибами-ягодами. Облюбовали его и лешаки с лесовицами, с русалками-мавками; живут себе в чаще лесной, особо не докучают. А раз не докучают – так и пускай себе. Земля, вода, воздух – они ведь для всех, ни для кого в особинку.

На одном из холмов, не на самой макушке, а так, чуть пониже, поляна есть. На поляне той три истукана стоят, из дуба иссеченные. Каждый – размером в пару обхватов. Грозно глядят из-под нависших бровей, а усы с бородой, может, улыбку скрывают снисходительную, кто там разберет? Не даром же ни зверь лесной, ни птица не боятся их; ходят да порхают мимо по своим нуждам. Каждую весну, как снег сойдет да цветы первые землю украсят, и каждую осень, как жатва покончится, приходят сюда люди. По весне – молодежь, костры жгут, венки плетут, хороводы водят, песни поют. Веселые песни, радостные, тепло приветствующие. По осени же, бабы с мужиками. Тут иные песни слышатся: торжественные, благодарные. Бывает, и в иное время кто заглядывает, все больше ночью. Мелькнет тень в лунном свете, скользнет через поляну к истуканам, а с другой стороны, навстречу ей – другая. Что за разговоры ведутся, что за дела сговариваются да вершатся – про то только ночь знает.

Откуда ж тут люди? А вот откуда.

На одном из холмов приречных примостилась деревенька невеликая – дворов тридцать. Спряталась посреди лесов да дубрав, только с реки и разглядишь ее. Ладненькая да аккуратненькая, сколько здесь простояла – кто ведает? Избы, сараи, постройки хозяйственные... Глянешь на иную – и сразу характер хозяина виден. Есть те, что стоят утесами каменными, крепкие, основательные, все к месту, ничего излишнего, – знать, на домового здесь не особо полагаются, сами с усами, с руками работными, умелыми. Есть же, вроде на месте все, а приглядишься – не улыбаются окна, чуть присели венцы, дранку на крыше кое-где поменять надобно б... Знать, хозяин здесь...

Да нет, не спеши упрекнуть хозяина. Что знаем мы о судьбе его? Может, согнула его прежде времени жизнь нелегкая, а может, пал от стрелы или сабли степняков, защищая землю свою родимую, не давая ее в злую обиду врагам? Вот и лишилась семья кормильца, а изба – хозяина... Ну да мир в беде не покинет, не оставит без помощи. Не было такого допрежде, не бывать такому вовек.

А что ссоры случаются – как без них? Это гости с кораблей своих глядят-восхищаются: что за красота!.. А на деле – и пашни мало, и покосов. Лес кругом, холмы. Что раскорчевали-расчистили, то межами промеж себя и разделили. Да только в семье было пять ртов, а через год – шесть-семь. Или молодые выделится захотели, свою избу ставить мыслят. Или кто, бывает и такое, поклонился миру, да и подался в поисках лучшей доли, один ли, если бобыль, а то и со всем семейством. А случается – камень межевой сдвинется, случайно ли, намеренно, ну да ничего – соберутся старшие, рассудят по старине, по справедливости.

Жаль вот только, кузни в деревушке нету. В город ездить приходится. Вроде и не так далеко, а небезопасно – пошаливают в лесу людишки лихие. Им что с гостя, что с землепашца «проездные» взять – ничего внутри не шелохнется; с последнего даже посподручнее, первые-то

без охраны крепкой обычно не ездят, да и редко они сюда добираются, все больше по ошибке или заплутав...

Третья изба по правой стороне, ежели на дороге к лесу спиной стать, крепкая, кряжистая. Огорожен невысоким тыном да воротами, запирающимися только на ночь, чтобы скотина невзначай не ушла. А днем – открыты наполовину. Ровно гостя ждут. Знать, хозяева справные живут, справные да приветливые. Только так ли это? Глянешь вдоль улицы – радуется жизни улица, играет красками живыми; глянешь на избу – ровно туманом изба слегка подернута, ровно пригорюнилась. Идут мимо люди, разговаривают; кинут взгляд в открытые ворота, переглянутся, вздохнут, головами покачают.

...Сколько ж лет тому назад это случилось? Лет двадцать, никак не меньше, а то даже и поболее. Жили тогда в деревне, – впрочем, и доселе живут, – два друга-приятеля, Тимофей с Яковом. Избы их напротив одна другой, только через дорогу перейти. Еще детишками вместе бегали, то на реку, то в лес. Вместе озорничали, вместе и ответ держали. Как подросли – опять вместе; пашни родительские да покосы по соседству расположились. Даже свадьбы вместе играли. А потому, когда первенцы родились, у Тимофея – мальчик, у Якова – девочка, у них и мысли иной не было, как по прошествии времени породниться.

Шли годы, выросли потихоньку Ванюшка да Фросюшка. Знали на деревне о том, как ждут назначенного срока Тимофей с Яковом, наказывали сыновьям своим и дочерям, чтобы не засматривались, не заигрывали, не встречали поперек в дело доброе, загаданное. И те вели себя соответственно задумке родительской. Может, скажет кто, что негоже с малолетства вот эдак-то за детей своих судьбы их решать; но с другой стороны – разве плохо то, что родители сызмальства о счастье их будущем озаботились?..

Наливался силою Ванюша, вились кудри светлые, раздавались плечи в стороны; расцвела Фросюшка красою девичьей; не сказать, чтоб из красавиц красавица, – а что пригожая, в том спору нет. Милая, да приветливая, да работящая. Не могли нарадоваться Тимофей с Яковом.

Хорошо бы, да не бывает так, чтобы небо синее все время солнышком сияло, не омрачалось тучами черными. А уж что они принесут – грозу ли лютую, что ветром-молнией беды великие учинит, или влагу благодатную, жизнь приносящую, кому про то ведомо?

Замечено было, что с некоторых пор, как девки с парнями гулянья устраивают, нет-нет да и оказывается возле Ивана красавица пришедшая, с глазами зелеными-презелеными, ровно ландыш майский, золотыми искорками посвечивающими. То улыбнется, то плечиком заденет, то прильнет ненадолго, как бы невзначай... Во всех играх возле Ванюши оказаться норовит. Догадывались, что за красавица глазки строит, да и как тут не догадаться? До ближайшего селения невесть сколько верст, и все лесом; к тому же, и прежде такое бывало. Заканчивалось, правда, по-разному. Пропадали иногда парень, али девка; ничего тогда не говорили, плечами только пожимали. Как ни расти дитя покорным воле родительской, все ж таки настанет время, когда и своя воля о себе знать даст. А иногда, сказывали, встречали то на лугу, то в лесу, то на речке – «глянул, и глазам своим не поверил: идет мне навстречу такой-то или такая-то, только лет ему или ей поменее будет...»

Ну да Иван, даром что в возраст вошел, из воли родительской выходить не спешил. Что ему красавица зеленоглазая, если у него Фросюшка есть? Может, так, а может и нет. Может, заглядывался тайком на чаровницу, только виду не подавал. И в том, чтоб по ночам со двора к истуканам бегать – про то никому ведомо не было.

За весной – лето, за летом – осень, а там уже и зима недалече. Минует стужа, до новолетья рукой подать. Один год другой догоняет да прогоняет, настала пора задумке Тимофея с Яковом сбыться. Сговорились, как только последнему снопу обмолочену быть, тут и свадьба. А мир порешил – избу, третью по правой стороне, ежели к лесу спиной поворотиться, отдать молодым; пустой стояла, ушел хозяин в поисках лучшей доли, а ее обществу отказал. В тот

год единственная свадьба была; в предыдущем целых пять играли, в следующем три стоварились, а в том – единственная. Потому и готовились к ней Тимофей с Яковым особым образом: легко ли сказать, всю деревушку напоить-накормить? А то еще кто гостями пожалует... Да не один день...

Ну да ничего, справились.

Наступил долгожданный день. Фросюшка, – в сарафане, богато расшитом цветами да зверьми диковинными, из-под серебряного шитья головодца русая коса до пояса, румяная, остроглазая, – чудо как хороша. И не заметишь, что ночь проплакала. Жалко покидать дом родительский, сколько лет в нем прожито... А только нет-нет, призадумается, улыбка на губах появится: не на сторону дальнюю замуж идет, не за постылого, – за любимого.

Иван же накануне свадьбы запропал, и куда – никто не ведал. Или ведал, да помалкивал.

Перевалило солнце за полдень – день выдался погожим. Хорошая примета – жизнь светлая будущих супругов ожидает. Девки на выданье хоровод вокруг истуканов водят, среди них Фросюшка. Те, что помладше, в сторонке. А вокруг, за кустами-деревьями парни затаились.

Вдруг в лесу шум раздался. Страшный. Словно кто деревья столетние с корнем выворачивает. Все ближе и ближе к поляне. Замерли перепуганные девки, да и у парней морозец легкий по коже подрал. Вот зашатались кусты, раздвинулись, и вышло из лесу чудище невиданное. Ростом выше любого человека, косматое все, с рогами турьими и мордой козлиною. Глаза огнем горят, клыки – что твои ножи из пасти разверстой торчат, когти как у орла, только длиннее. Завизжали девки, врассыпную бросились; да и парней особо уговаривать не пришлось, за девками подались и неизвестно еще, кто быстрее до деревеньки добежал. Только Фросюшка осталась. Застыла на полянке четвертым истуканом, пошевелиться не в силах... Так и досталась зверю невиданному.

А у подножия холма, где похищение случилось, присела на траву, среди немногих цветов осенних, красавица зеленоглазая. Была ландышем майским, стала листвою увядающей. Сдавило мукою грудь, дрожат губы алые, застит пелена глаза, слезы наворачиваются. Скатилось несколько росинок по щекам, упали на землю; с той поры и до нынешнего времени ключ здесь бьет. Прозрачный, холодный, не замерзающий; вода в нем только чуть солоноватая...

А девки с парнями только возле самой околицы и спохватились; как же это так случилось, что невесту-то они одну оставили, с лесным чудищем? Похватали парни кто что мог: топоры, косы, а кто и просто жердь, – обратно подались. Девки же визгом своим да рассказами путанными всех переполошили; мужики вслед за парнями пустились. Прибежали на поляну, огляделись не без опаски, – мало ли что, – только пусто здесь оказалось. Нет никого: ни чудища лесного, ни Фросюшки, ни следов. Ни тебе трава не примята, ни кусты не поломаны; утащил зверь невесту, а куда утащил – неведомо. Покричали, поаукали, да так ни с чем и возвратились.

Идут, переговариваются, вроде и вины особой нет, а как сейчас Тимофею с Яковым в глаза глянуть, как рассказать... Глядь – а возле избы, третьей по правой стороне, ежели к лесу спиной повернуться, дружки стоят. Один в воротах, трое – по каждой стороне. И не заметили, что они в лес за всеми не побежали. Оно и понятно, где положено стоять, там и стоят. Да только странно это показалось... Принялись расспрашивать – молчат. Пробовали в окна заглядывать, во двор пробраться – не пушают. Все честь по чести. А только какая там честь, коли в избе не звука, и ни огонька в окошках не светится? И Тимофей с Яковым – каждый в своем доме схоронился со всем семейством, ворота на запор, и не выходят, сколько ни звали.

Так и разошлись, не солоно хлебавши. Ночь не спали; гудела деревушка, ровно улей потревоженный, те, которые посмелее, все к избе, которую молодым отвели, подобраться пытались. Да только все без толку. Ни звука, ни огонька. А кого удача не шибко жалует, тем и по шее досталось от дружек. Им – есть ли кто в избе, нет ли никого – обычаем положено охранять. Вот и охраняли.

Как ни старались досужие дознаватели, так ничего и не вывели. А утром, солнышко еще не выглянуло, – словно по волшебству, – во дворе той самой избы, третьей по правой стороне, ежели к лесу спиной поворотиться, столы накрытые показались, расписными скатертями накрытые. Возле столов – лавки узорчатые. А на скатертях – чего только не было: тут тебе и хлеб, и студень, и пироги, и птица, и пара кабанов, и ягоды, и головы сахарные, и квас, и меды красные да белые...

Сами молодые встречали приходящих односельчан земными поклонами, приглашали к столам. Оторопь поначалу охватывала гостей, а затем, посмеявшись розыгрышу и укорив себя в душе за легковерие, бежали быстрее домой за подарками молодым, после чего, возвратившись, возвращали поклон, вручали дары, желали, кто как может, счастливой безбедной жизни, и чинно проходили к столу, где, встретив таких же поначалу ошеломленных сельчан, пускались было в разговоры, но затем, мало-помалу, начинали воздавать должное обильному угощению.

Три дня гуляли свадьбу, но всему, даже самому хорошему, рано или поздно приходит конец. Зима скоро, успеть надо подготовиться к встрече первых холодов, а там и Мороз Иванович в гости пожалует. Перво-наперво орудия пахотные в порядок привести и в сарай до весны спрятать; сруб да крышу поправить, коли надобно; с огородов все убрать, хмель заготовить, – сколько всех работ, не перечислить... Жизнь вошла в привычное русло.

Прошло время, поутихли разговоры о свадьбе, – и то сказать, не первая причуда случилась, и, наверное, не последняя, не век же ее теперь поминать, – истек положенный срок, и появился на свет у Ивана Тимофеевича и Ефросиньи Яковлевны первенец. Рады были родители, пуще же радовались Тимофей с Яковом: вот и породнились они по-настоящему, есть теперь, кому род каждого продолжить. Думали да гадали, как назвать, до хрипоты спорили, а только называли, как Иван решил: Илюшенькой. Может, не сам решил, может, тут за Ефросиньей последнее слово было – разве ж это важно? Важно то, что еще один человечек на Руси родился – Илья свет Иванович.

Лицом больше в маму, а крепыш – это, конечно, от папы. Лежит себе в люльке, агукает, сверкает глазенками, иногда криком заходится – обычный ребенок, каких много. Знать бы наперед, что тебе судьбою уготовано...

Это только в сказках говорится: растет ребенок не по дням, а по часам. В жизни-то оно иначе выходит. Ну да не о том речь. Рос-подрастал Илюшенька, день за днем, весна за весною. В свое время зубки прорезались, в свое время ползать начал, в свое время – ходить. Бегать, озоровать, помогать потихоньку отцу с матерью. Одно печалило Ивана и Ефросинью: не довелось им более счастья родительского изведать. Потому и любили сына своего по-особому, однако ж не до того, чтобы до всепрощения. Довелось и Илюше узнать, что такое розга...

Десять лет с той поры минуло. Любуются – не налюбуются подрастающим сыном родители, да и у Тимофея с Яковом, не смотря на то, что не последним внуком был, ходил любимчиком. Как ни старались они ко всем относиться одинаково, а все-таки и в лес, борти обирать, и на реку чаще прочих с собою брали. Только в возрасте таком все меньше времени на шалости оставалось – начал его отец к труду земледельческому приучать, хозяйствовать. Ну, да то мальчику не в тягость было, наоборот, – пусть и нехитрые пока задания даются, – а не просто так, по делу, кое в чем со взрослыми наравне.

Вот о ту самую пору и стала примечать Ефросинья, как Илюша во дворе чем занимается, появится близ ворот старушка, видом убогонькая. Согнутая, ровно дуга, на палочку опирается, вся в черном. Встанет, и стоит, во двор смотрит. Ничего не просит, только смотрит. Хотела пару раз ей Ефросинья хлебушка дать, пойдет в избу, воротится, а у ворот и нет никого, словно и не было. Спросит соседей – а те никого и не видели. И глаза у старушки той – зеленые-презеленые.

Ничего не говорила мужу Ефросинья, а сердце материнское между тем сжималось при виде убогонькой, беду предчувствуя. Гнать хотела ее от двора подальше, но как же закон неписанный нарушить, предками завещанный? Странника да убогого привечай... Старалась утешить

себя, как могла: сколько старушки этой тут не было? Глядишь, и отстанет вскорости. Да только сердце не обманешь.

Случилось-таки, что не сдержалась; молвила слово злое, обидное. Сама не заметила, как. Что ты, мол, все ходишь, высматриваешь? Чего тебе надобно? Ступай себе, не ровен час – беду накличешь!.. А нет – так собаку спущу. Страх подспудный, предчувствие горести лихой – словом неприглядным вырвались.

Ничего не сказала в ответ убогонькая. Опустила голову, повернулась от ворот и пошла себе, как велено было. Спокойненько идет, на палочку опирается.

Защемило сердце Ефросиньи, хотела было окликнуть, вдогонку броситься, повиниться, попросить, может, и вправду такое приключилось, что только они с мужем помочь могут, и тут от крыльца звук странный раздался. Вскрик, и будто упало что-то.

Обернулась Ефросинья – и видит: сынок ее, Илюшенька, что ведро с водою колодезной в избу нес, об ступеньку запнулся. И сам упал, и ведро выронил. Катится ведро, вода к воротам струйкой бежит...

Велика ли беда – о ступеньку запнуться. Упал, поднялся, отряхнулся, улыбнулся – всего и делов-то. Однако, смотрит Ефросинья – неладное что-то. Силится Илюша подняться, да что-то у него не получается. Упирается руками в ступеньки, хватается за перила, а встать не может. Ровно кто пути невидимые, многопудовые, на ноги ему наложил.

Бросилась к сыну Ефросинья, подхватила под руки, суетится, помочь пытается, – да только все больше суетится. А потом, ровно молния в голове полыхнула: вот же ведь колдунья старая, не иначе как ее дело, не иначе как в отместку за слово злое.

Усадила кое-как Илюшеньку, бросилась к воротам, выскочила на улицу, глянул вправо-влево – не видать ли где убогонькой? Не видать... Улица вся как на ладони: в одну сторону, до спуска к реке, в другую – аж до самого леса. Не могла далеко уйти, однако ж не видать...

Вернулась обратно к сыну на крыльцо, присела рядышком, обняла, прижала к себе, хотела сказать ласковое, ободряющее, – и не смогла. Сдавило грудь, подступил ком к горлу, хлынули слезы горькие, обжигающие... Обнял ее сын ответно, тоже утешить хотел, мол, не беда, сейчас вот посидим немного, и все станет по-прежнему, и сам расплакался, хотя давно уже и знать позабыл, что такое слезы.

Так и просидели на крыльце до вечера, покуда Иван с поля не воротился. Выслушал сбивчивый рассказ о случившемся, – сказать по правде, и рассказывать-то было особо нечего, – нахмурился, услышав, как обошлась жена со старушкой убогой. Помял ладонями крепкими сына; руки, как и прежде, силенкой налиты, а вот ноги... Не держат, подкашиваются. Знать, без знахарки не обойтись.

Жила она одна, в другом конце деревни, Велеславой звали. Странно жила, хотя никто про нее слова худого сказать не мог, – или побаивался. Сколько лет на свете, а все не меняется видом, ровно не властно над ней время. Иной едва четвертую весну разменяет, глядишь, у него уже и белизна в голове да бороде, а Велеслава... Любой, кто увидит, более тридцати – тридцати пяти весен не даст, и станом стройная, и лицом моложава. Хотя уж и позабыли, когда муж ее свет белый покинул. Стариком ушел, пусть и до последнего надел свой обихаживал, а она... Два сына ее жить в деревеньке не остались; испросились благословения родительского, поклонились миру, попрощались и подались лучшей доли искать. Ничего с той поры о них не слышали. А она осталась. Травы ведала, раны заживляла, суставы вправляла... Девки иногда, тайком, промеж себя, уговаривались зелья у нее любовного попросить, – оно ж не всегда так случается, что твой избранник тебя самое среди прочих выберет, – а вот просили или нет, про то достоверно не ведомо. Частенько встречали ее чем свет, а то и вовсе ночной порой, возле дороги, в поле или около леса, ну да кто ж не знает: каждой траве свое время. Иная о полночь силу наибольшую имеет, иная – о полдень. Потому как соки разные в них: у одной темный, у другой – светлый. Одна смерть несет, другая – жизнь. Как в сказках да преданиях говорено?

Иную рану поначалу мертвой водой sprysнуть должно, а уж потом только – живою. Или же она, сарафан скинув, оставшись как в свет пришла, росой ночной или утренней омывалась, потому и не старела? Не будем гадать, негоже это...

К ней и отправился Иван со своим горем. Выслушала она его внимательно, ни о чем не переспрашивала, велела снаружи избы обождать, пока соберется. Ждет Иван, а сам поперек воли дивится: вот ведь у всех каждый год – кто венец правит, кто крышу, кто ставни, кто крыльцо, кто еще что, а у Велеславы изба – всем на загляденье. Стоит себе, будто только вчера поставили. И банька такая же, хоть и ровесница избе... Как тут не подумать о...

Не успел Иван подумать; вышла хозяйка с туеском в руках. Лицо серьезное, задумчивое. Идут они по улице, а встречные, что возле заборов вдоль улицы стоят, разговаривают, – умолкают, глаза отводят, вслед смотрят. Знают уже о беде приключившейся. И что же это за птица такая – молва? Вроде и не было никого рядом, случись чего, даже вдалеке от деревни, а вернешься, – смотрят сочувствующе, или с улыбкой, – это в зависимости от случившегося. И не найдешь того, кто бы про себя такое припомнить не мог...

Возле ворот Ивановых Тимофей с Яковом стоят, переговариваются тихо. Даром что не чужие, а не заходят, робеют. Приметили хозяина со знахаркой, примолкли и глаза в землю. Здоровенные мужики, кряжистые, а притихли, словно котята нашкодившие. Прошел мимо Иван, голову опустив. Не пригласил войти, слова не сказал. Те понимающе переглянулись; знать, совсем не ладно дело, коли без Велеславы не обойтись.

Попросила знахарка Илью в дом отнести да на печь посадить. Ефросинья велела во дворе обождать, дверь закрыла. Ивана в сенях оставила, дверь из сеней в горницу – нараспашку. Чтобы отец видя – не видел, слыша – не слышал. Сама в горницу прошла.

Что в горнице дейлось, про то неведомо. Иван, как ему и было наказано, не видел и не слышал. А как стали Илью расспрашивать, так и он ничего толком сказать не смог. Села, сказывал, Велеслава на лавку, поставила туесок на стол, сложила руки на коленях. Сидит, голову наклонила, смотрит; только вот не на Илью смотрит, не на печку, а словно вдаль куда-то. И молчит. Еще ему показалось, что как вошла, будто достала что-то из туесочка и в подпечек бросила. Вымели подпечек – нет ничего, только щепки да кусочки коры...

Солнце уже за деревьями скрылось, заалело небо, вышла знахарка, закрыла дверь за собою, присела рядом с Иваном. Бессильны ее травы, не поможет ее искусство вернуть отроку былую силу. Не к ней обращаться надобно. И наставила, как поступить надлежит. Если и это не поможет, одна только надежда на случай какой и останется.

Помрачнел лицом Иван, совет Велеславы выслушав. Ничего не сказал о нем жене своей, ни кому другому. Ночь глаз не сомкнул. Выходил на крылечко, садился на ступеньки и сидел, понурившись. Ефросинья тоже не спала – прислушивалась, не случится ли чудо, не услышит ли шаги сыночка любимого по деревянному полу? Ничего не слышно, кроме обычных шумов ночных. Снова и снова вспоминала, как обернулась, как увидела... И всхлипывала, не в силах удержать горячих горьких слез.

Солнце уже за полдень перевалило, когда Иван все-таки решился. Пошел к соседям, выменял у них петуха черно-красного на своего, белоснежного. А как за вечерело, взял под мышку, и прочь со двора, не сказавшись. Видела Ефросинья, как к лесу шел.

Лишь под утро вернулся. Ждала его Ефросинья, с тайной надеждой ждала. Услышала шаги знакомые, выбежала на крыльцо, дверь нараспашку. Увидела лицо Ивана, и спрашивать ничего не стала.

С тех пор и стояла изба, ровно туманом слегка подернута, ровно пригорюнилась. Сколько ж тому лет прошло? И не вспомнить. Лет двадцать, а то и поболее...

2. По свету хожалые, люди странные

Кому из людей ведомо то, что они именуют временем? Почему оно, всевластное, бес- сильно перед теми, кто счастлив, или живет ожиданием счастья, и безжалостно к тем, кто и так обижен судьбою? Кто по себе не знает: улучат часок-другой влюбленные, встретятся, только вроде глянули друг на друга, словами приветными обменялись, взглядами, а уж и расходиться пора. Или вот, когда у Гордея, – его дом через два от Иванова в сторону реки, – сын родился, так он на следующее утро едва не половину покоса своего смахнул и не заметил как. Удив- лялся, глядя на дело рук своих: только, вроде бы, начал... Смеются над ним: «начал»... Ты погляди, солнце-то уж за полдень. И он смеется. Что ему солнце? Радость у него, счастье, до солнца ли ему? И совсем иное, когда печаль-кручина сердце гложет. Тут каждое мгновение годом тянется. Вот, к примеру, другой сосед, его дом крайний у леса... Да нет, даже и говорить об этом не хочется. А может, это природа человеческая такова, а вовсе не время?

Поначалу к Илюшеньке никто не приходил, – осторожничали; как ему смотреть на своих сродников, братьев-сестер, здоровых да живехоньких, как после одному с самим собой, нехо- дячим, оставаться? Да и побаивались сдуру – может, хворь какая приключилась, что и на дру- гих перекинуться способна? Потом, потихоньку, стали похаживать, – отец его на крылечко или во двор, на чурбан, выносил. А как взростеть начали, как дела-заботы прижимать стали, так все реже и реже. Не забыли, конечно, насовсем, но и не скажешь, чтобы почасту.

Тимофей с Яковом – те мимо не проходили. То птичку-свистульку принесут, то богатыря на коне, то медведя с бочонком – хоть и вырезаны из дерева, а как живые. Сказки рассказы- вали, побывальщины – непременно чтобы добрые, и хорошо заканчивались. Да только больно уж сказки эти от жизни отличались. У самих на руках мозоли с кулак, минуты без дела не просидят, а рассказывают что? То у них бездельник рыбу поймает, и все-то она за него делать начинает; то селянин какой хитростью да смекалкой женится на княжеской дочери, становится наследником и опять же, ничего не делает. Как же так? Что же это получается? Тому, кто тру- дом своим живет, – ничего, а кто на печи лежит... Сказал, и осекся. Губы поджал, слезы злые на глазах выступили. Стали ему деды объяснять было, что достаток или там богатство, это одно, а счастье – его каждый по-своему понимает, и совсем не обязательно, чтобы у всех богатство и счастье в обнимку ходили, – да только без толку. Счастье – вон оно, бегать с погодками по улице, родителям помогать, жить так, как другие живут, как жил до недавнего...

Все горше и горше становилось Илье с крылечка на ватагу однолеток, что мимо двора проскакивали, играючись, и стал он отца просить, чтоб выносил он его на другую сторону избы. Там огород, поленница и скамеечка приспособлена возле стены, присесть передохнуть, как спина занемет от поклонов земле-матушке. Здесь сорняки повыдерни, здесь слизней пообери, тут растения друг дружке расти не дают, проредить надобно. А коли ведро, – напои землю, не дай жаждой мучиться; не напоишь – не видать тебе урожая. Раньше Илюшка ведра с водой таскал и с прочим подсоблял, а теперь все Ефросинье самой делать приходится. Тяжко ей, подустанет, постоит чуток, или с сыном рядом присядет, улыбнется ему, – даже, бывало, по голове потреплет, волосы взъерошит, – и снова за работу. Не любил Илья, когда мать с ним вот так-то тетешкалась, как с маленьким, но терпел, не подавал виду; к тому ж, все одно с улицы не видно...

Мерно жизнь в деревеньке течет, изо дня в день, из года в год. А чему тут удивляться-то – затерялась где-то на отшибе. Однако ж и сюда заходили странники, по белу свету в поисках лучшей доли мыкаясь. Они-то и приносили известия о том, что на просторах земли деется. Редко такое случалось, но все же случалось...

От одного из таких странников и узнал Илюша, что где-то там, за лесами, неизмеримо далеко от деревеньки, на берегу реки, такой же могучей, а то даже и поболее, величается кра-

суется Киев-град. Молод князь его, но грозен. Не без головы удачлив. Быстр, решителен, смел. Кликнул он клич, и собрались вокруг него богатыри сильнейшие от всех племен, порешивших единым миром жить – из полян, древлян, радимичей, уличей... – Непривычно звучали имена эти для мальчика, да уж больно родными казались... Сами-то мы кто? – отца потом спрашивал. Вятичи мы, ответ был; а есть еще мурома, мешchera. – В досаду стало князю, что года не проходит, чтобы дикие владений его не тревожили, не жгли селений, не разоряли мирных пахарей, не уводили полон. Не будет нам жизни спокойной, покуда не дадим укорот хищникам, – и послал вестников к ханам их, сказать коротко: «Иду на вы!» Услышали ханы весть, порассмеялись. «Добро бы, сказали, неожиданным явился, с ратью великой, а так... Нет в нем ничего, кроме гонору пустого. Гостем незванным идет, что ж, встретим, как полагается, только пусть уж за обиду не держит, коли встреча та не по нраву придется...»

– А наши, наши-то богатыри чего? – опять Илюша отца теребил.

– Так нам-то чего? – пожимал отец плечами. – Нешто мы князю киевскому данники?

Он – ошуюю, а мы – одесную.

Правду говорил отец. Мимо прошел с богатырями своими князь киевский. Хотел было путь короче сделать, – не дали. Вышли к границам земель своих вятичи, не пропустили. «Мы с дикими в мире живем, сказали, нет нам нужды с ними ссориться». «Вам решать, кто вам ближе», князь отвечал; не стал препираться и рати учинять, стороной обошел. Мечом прошли рати его Степь хазарскую, пали города их на море Хвалынском, настал конец их царству окаянному.

– А где это такое, море Хвалынское? – спрашивал Илюша.

– Там, далеко-далеко за лесом, за рекою, за степью, в той стороне, где солнце восходит...

Закроет Илюша глаза, и встает перед ним Степь: вот как тот луг пойменный, что за несколько верст ниже по течению. Только трава на нем не зеленая, а почему-то соломенная, и стоймя стоит, человеку в пояс. И до самого горизонта, где солнце садится, куда ни глянь. А еще ровная, будто лавка; под небом, синим-синим. Идут-едут по этому лугу-степи богатыри княжеские, сотрясается земля от их богатырской поступи, прочь летят птицы, бежит зверь испуганный. Приглядишься – не зверь это; соглядатаи хазарские. Впервой им видеть силушку, ни остановить которой, ни обороты... Бегут к ханам своим с доносами: сколько ни собери войска хазарского, не совладать ему с богатырями русскими. Мира искать надобно, хоть все богатства свои неместные отдать, хоть в данники, а мир выпросить.

Не послушались ханы; собрали войско хазарское, вышли в степь, навстречу рати княжеской. Да только любой рассудит: вон, камень у берега лежит, в три обхвата. Он ведь прежде на горке дорогу проезжую перегораживал. Сколько лет мимо него ездили, а потом уговорились, взялись всем миром, подрыли, да и столкнули с места. – Нет, сам-то Илья этого не видел, это еще до его рождения случилось. Отец рассказывал. – Катился тот камень, все снося на своем пути; немного до реки не докатился. Так и лежит там с той поры. Попробуй-ка, встань кто поперек камня того катящегося!.. Хазары попробовали. Где теперь царство Хазарское? Нету, как будто и не было.

Сколько потом, после того как ушел странник, сидя позади избы на скамеечке да на небо глядячи, представлял мальчик в облаках богатырей, когда пеших, а когда верших, грозных, но справедливых, исполненных силою, но и милосердия.

Долго деревеньку никто не посещал, а потом соседи, в город ездившие, привезли вести неожиданные. Не забыл князь киевский, как преградили ему дорогу вятичи, не желая ссоры с дикими. Негоже, решил он, одному племени в сторону от прочих смотреть. Одни у нас обычаи, единой земле быть должно. Кого лаской, а кого силою вразумил. Не сказать, чтобы побил, а так, потрепал. Но так, чтобы вдругорядь не возвращаться да не разобъяснять тем, кто надумал в лесах отсидеться, – нет больше вольных вятичей, теперь всем племенам хоть и в особину, а заодно жить...

Приметил Илья, в окошко глянув, вышел отец провожать странника, довел до ворот, остановились они. Разговаривают о чем-то. Отец голову опустил, а странник время от времени на избу взгляд бросает. Постояли, поговорили. Развел руками странник, вышел за ворота, повернулся к Ивану, поклонился в пояс, и пошел себе далее, лучшую долю искать. Горько стало мальчику, ох, и горько...

А раз как-то, едва год начался, снег еще не везде сошел, едва-едва первая зелень показалась на обширных проталинах, голос зычный на дворе раздался: «Отворяй, хозяин!», и удар в дверь, да такой, что чуть с петель не слетела, даром что не заперта была. Иван и Ефросинья о ту пору дома были. Вздохнули, переглянулись. Ефросинья из горницы прочь вышла, Иван у стола встал. В проем вошел, – у Ильи аж дыхание перехватило, – богатырь, как в сказках деды описывали: статный, в плечах широкий, усы и борода густые, нос картошкой, глаза суровые, в кольчуге и при мече, щит за спиной. Не спросясь, отодвинул Ивана в сторону, сел на лавку, на Илью глянул. Тут второй в избу прошмыгнул, ровно лиса. Невысокий, шапка неразбери поймешь, с головы свесилась, не понятно, как и держится, кафтан потрепанный, сам худосочный, сумка на боку. И что еще Илье запомнилось, – все остальное как-то поблекло, – нос длинный, острый, что твоя стрела.

– Стало быть, сын у тебя в возраст вошел, а потому двойная подать с тебя причитается. Надел твой того же размера остался, а вот рук рабочих прибавилось, – сорокой прострекотал остроносый и на Ивана уставился. Хищником смотрит.

Помолчал хозяин, потом вздохнул тяжело и отвечал, с горечью в голосе.

– Верно ты сказал, вошел сынок в возраст. Да только вот рук рабочих не прибавилось, беда с ним приключилась, обезножел он. Ходить не может, куда там с сохой управляться.

– Обезножел он, или нет, до нас это не касается. Сегодня он, может, и не ходит, а что завтра будет, про то никому не ведомо. Позови знахаря, заплати – не поскупись, и вся недолга.

– Не первый день бедствуем. Не помогли ни знахари, ни знахарки. Одна только и осталась надежда, что на чудо.

– А хоть бы и так. Чудо – так чудо. Только зю до твоих забот дела нет, у него своих хватает. Пользуешься землей, что дружина посадская от врагов оберегает, плати, сколько сказано. Хочешь, мехом плати, а не то – деньгами... Добром не заплатишь...

Посуровел Иван, нахмурился. Туча тучей стоит, кулаки сжал. Что-то сейчас будет!..

– Что, селянин, на кулачки переведаться хочешь? – раздался голос богатыря. Не насмешливый, будничный, даже вроде как усталый. – Ну так пойдем на двор, потешимся. В избе, оно не сподручно как-то...

Не обидела Ивана природа силушкою, ну да и в дружину посадскую не с дороги берут. Молодцы там – что твои быки, к потехам ратным привычные, не токмо что себя в обиду не дадут, сами кого хочешь обидят. Их голым кулаком и видом суровым не испугать, – не то видели...

Опустил голову Иван.

– Не охотник я, нет у меня мехов.

Вышел из горницы, вернулся с тряпицей сложенной. Развернул, достал два кружка блестящих, на стол положил.

– Вот и славно! – поднялся богатырь. – Забирай, дальше пошли!

И легонько так остроносого подтолкнул. Только это кому легонько, а кому... Тот едва в дверь не втемяшился, однако ж кружки со стола ухватил. Цепко так, ровно филин зайца, ухватил. Дверь распахнул, и в сени. А богатырь будто замешкался у порога. Глянул на Ивана, на Илюшку, что на печи замер, и вышел, ничего не сказав.

Погода немного, подхватил Иван сына на руки, вынес на крыльцо, усадил. Сам рядом сел. Ворота полураскрыты, видно, что в деревушке делается. Ничего. Словно вымерла. Взрослые не ходят, малыцы не бегают. И тихо, ни собак, ни даже кур не слышно. Скрипнула позади дверь.

Тихо спустилась Ефросинья, рядышком присела. Удивительно даже: крылечко ни весть какое, двоим с трудом разминуться, а тут трое сидят – и ничего, не тесно.

– Тять, а это богатырь княжий был? – осмелился спросить Илюша.

– Княжий да не княжий, – ответил Иван. – Город наш нынче князю подать платит, а мы, как и прежде городу. А городом нашим люди богатые правят. Как и что делать, промеж себя решают, как у нас, на сходе. Посадника выбирают, чтобы каждый день сходы не чинить...

Сколько так просидели, не ведомо. Только послышались смех, говор, конский топот. Не торопясь, проехали по улице мимо ворот вершники: двое остроносых, – это Илюша их так назвал, хотя второй вовсе таким и не был, – да пятеро богатырей-дружинников. Собрали, что положено было, назад подались.

А деревушка так до вечера и оставалась, будто вымершей...

Разные люди в избу хаживали...

Сколько лет минуло с той поры, как оступился Илюша у крыльца, когда лучиком робким среди грозных грозowych туч глянула надежда. Рассказал Ивану странник, а тот, как мог – Ефросинье передал, – да только и отрок слышал. Впрочем, какой же он о ту пору отрок был? Мужать начал, в силу входить, кабы не недуг – всем бы взял. Ну да не о том речь. Говаривал странник Ивану, что ходят по свету белому люди; точнее сказать – по обличью-то люди, а по словам да делам... Многое знают, многое умеют. Им, поговаривают, книга особая дадена, голубиной именуемая. В сорок сажен длиной, в двадцать шириною. Страницы у нее не пергаменные, а тонкого серебра; буквы-то в ней не чернилами писаны, а чистым золотом. Кому на роду написано, – только тот прочесть и может. Потому – в книге той все тайны прописаны, и земные, и небесные. Кто прочел ее – ввек не забудет, силу обретет такую, что и представить невозможно. Не ту силу, чтоб обороть кого, а иную, сокровенную. – Уж не о волхвах ли говоришь, что по темным лесам да пещерам живут, от людей хоронятся? – Нет, не о них. Волхвы – те на одном месте обретаются, свои у них книги, свои порядки. Эти же что ни день, на новое место переходят, потому и прозвание им – калики перехожие. – Как же их узнать-то? – А просто. Лапотки-то у них из семи шелков, в носке камешек самоцветный; сносу им нет. В руках – посох из рыбьего зуба, в девяносто пудов. Ну, а в остальном – кто как, вот, скажем, как мы с тобой. – И что же они, все могут? – Сказано же тебе, книга у них такая, что все про все прописано. От любой хворости избавляют. – Ты сам-то видал? – Сам не видал, а люди сказывали. – Ну, иной сбредет, не дорого возьмет... Да и где их искать-то, калик твоих? – Про то не ведаю. Может, и искать их не надо... Коли они таковы, как про них сказывают, может, они сами придут, когда время настанет...

Крепко запали в душу Илье слова странника. Улучил он времечко, да и спросил дедов, слыхивали ли они что-нибудь про калик перехожих? Переглянулись Тимофей с Яковым, крикнули. Не может такого быть, чтобы случайно до того их о том же самом Иван спрашивал. Верно, отвечали, сказывают в народе про таких. Да только небылицы все это. Сам посуди.

Жил да был далеко отсюда, в тридевятом царстве тридесятом государстве царь, по имени Аггей. Померла у него жена, и остался он с красавицей-дочерью...

Вышел Илья из возраста, когда хлебом не корми, а Расскажи-ка лучше сказочку. Да только, если уж к слову пришлось, есть ли он, возраст такой? Казалось бы, наперед знает, что дальше будет, и про злую королевну, и про то, как невзлюбит она падчерицу, как изводить ее будет, и чем все закончится, а вот поди ж ты – сидит, как говорят в народе, уши развесивши, и представляет себе все, да так явно, будто перед собой въяве видит. И то сказать, не каждому счастье такое дается, чтоб слово его за живое схватывало. Иной начнет рассказывать – хоть и правду, а слушать его – проще из избы сбежать; а иной соврет – заслушаешься. Чего далеко ходить – через пять домов по улице. Живут там, вот как Тимофей с Яковым, друг напротив друга, Братило и Долговяз. Не знает кто, при встрече подумает – враги записные. А на самом деле – ничуть не бывало; лодка у каждого есть, челн-долбленка, сеть, – рыбной добычей про-

мышляют. Ну, и соперничают, не без этого. Только как сойдутся, говор между ними начнется, ажно облака во все стороны разлетаются. Кто из них лучшей, да кто удачливей. Кто дока, а кто так просто, за околицу вышел. Так вот. Выхватит, положим, Братило сома, здорового такого, одному не унести, а сказать про то не токмо что складно, а и вообще... Руки растопырит, глаза выпучит, вот такого, мол, поймал. И впрямь чем-то сома напоминает. Иного слова сверх сказанного и не добьешься. Не то – Долговяз. Улов у него неудачный – пара-тройка лешей, да и те – лучше б не показывал, а рассказывать начнет – заслушаешься. Ни разу такого у него не случилось, чтоб без оказии. То у него водяной в сети запутается, то русалка (тут он так расписывать начнет – бабы краснеют, мужики только покрываются), то лось (реку переплывал, да в сеть и угодил), то на диво какое зазевался и весь улов упустил. Однажды такое поведал – народ три дня к реке не ходил, боязно было. Видел он якобы ладью, против течения поднимавшуюся, а на ладье той парус черный и воины мертвые. Вспенивают весла воду, а плеска не слышно. И прямо к нему плывет. Куда деваться? Тот камень, к которому челн веревкой привязан, быстро не поднять. Только тем и спасся, что в воду потихоньку сполз да возле борта и держался, пока мимо не проплыла. И вот что удивительно: видели мужики, что это он в воду свалился, когда из челна на берег выбирался, – за весло запнулся, – а все равно поверили...

Ну да Тимофей с Яковом Долговязу не больно уступали. Тот, единственно, все больше про свои подвиги и рассказывал, а эти – про чужие. Хотя правда с выдумкой у всех их так переплетались, что и не разберешь. А еще, Долговяз – он словно по-новому все переживал: и руками-то размахивал, и вскакивал, и бегал, и приседал, и по коленям себя хлопал; бывало, и слушающего за рубаху или порты теребил. Эти же неторопливо рассказ вели, словно завлекая, так слово за словом приговаривая, будто баба сарафан вышивает; стежок за стежком, пока не предстанет глазам узор дивный. Помотает тогда слушающий головой да и спросит себя: где ж это я обретаюсь-то? Только что посреди моря-окияна был, на острове, или во дворце кашеевом, или в пещере разбойничьей – ан нет, почудилось. Вот она, завалинка знакомая, али горница, али скамья возле забора. И слова-то вроде простые, всем ведомые, а вот поди ж ты, как ладно складываются...

Слушает Илья про царя Аггея, и в который уже раз удивляется. Царь – он ведь самый главный над всеми, а живет в своем дворце – как все. И с женой нелады, и о том как дочь замуж выдать думать надобно. Разве что пашню не пашет, да хозяйством не занимается – ну так ему о подданных печься следует, чтобы в мире жили, чтобы торговали, чтобы царство процветало. А тут мало того, что соседи-хищники – дашь слабину, того и гляди, отхватят полцарства, и не заметишь как, – еще и Змей лютый огнедышащий объявился. Подавай ему царевну, а не то все царство разорю. Не нашлось у Аггея богатыря достойного, чтобы со Змеем сразиться. Был у царевны жених, принц заморский, да куда там ему супротив чудища. Уж как плакал Аггей, как убивался, а делать нечего. Отвел царевну на берег моря-окияна, оставил одну в шатре, и, горем убитый, во дворец воротился. Настал час, всколыхнулось море-окиян, вспенилось, пошло волнами, вымахнуло из него чудовище – и к шатру. Только чует, – вьется-вьется, а все как будто не движется. Оглянулось, видит, мужичонка какой-то стоит. Нос картошкой, борода лопатой во все стороны, волосы соломенные из-под шапки поношенной повыбились, и одет-то во все ветхое, заплат на заплате. Сума на боку, да посох кривой деревянный в руке. И вот это-то чудо гороховое, наступило невзначай на хвост, на самый кончик, однако ж и того хватило, чтобы Змею на месте оставаться. Подивилось чудище, спрашивает: «Ты из каких будешь? Сколько живу на свете, а такую невидаль в первый раз встречаю». – «Зовут меня Иванищем, отвечает, а то, что в первый раз встречаешь, оттого и живешь, и безобразничаешь». – Еще больше удивился Змей. – «Вот тебе и на, оно еще и грозит. Да я тебя проглочу – и не замечу». – «Как же ты меня проглотить? С головы я костист...» – Фыркнул Илья, услышав окончание присловья, а деды как ни в чем не бывало дальше продолжили. – «Ничего, по мне и такой сойдет», Змей отвечает, и как дыхнет пламенем. Раз дыхнул, другой, третий... Стоит себе мужичок, не

шелохнется, нипочем ему жар огня змеинового. В этот раз чудище ни удивиться толком, ни сказать ничего не успело. Взял мужичок свой посох в обе руки, да как начал Змея со всех сторон по бокам охаживать, только гул стоит. Не сладко пришлось чудищу – это только на вид посох легким казался, а весу в нем было пудов эдак под пятьдесят... Лупит он его, и приговаривает...

Ну, да не важно это... Сказка эта вроде так, а вроде и не совсем так сказывалась. Слово озорных в ней хватало; но не через край, а в меру и где надобно. Оно тогда как-то поживее выходит, и к жизни поближе. Закончилась чем? Отвозил Иванище Змея от души, да и отпустил на все четыре стороны с наказом больше не безобразничать. Царевну во дворец отвел, от милости и подарков царских отказался, побрел себе дальше по белу свету... Может, так было, а может, и не совсем так. Сказка все-таки...

Сколько весен с той поры минуло, кто ж их считал? Когда день на день похож так, что и не отличишь, – разве что был намедни дождь, а сегодня ведро, или мело вчера поземкою, а нынче солнышко в окне лучиками поигрывает, – ну так это на улице. А в избе не меняется ничего. Только вот морщин вроде как у Ефросиньи прибавляется, да серебра в волосах; Иван тоже кряжистей становится, ростом пониже, и силушка в руках уже не прежняя стать. Другие-то внуки, что у Тимофея, что у Якова, кто женился, кто замуж вышел, а Илья, – хоть и старшенький, хоть и собой пригож, – кто ж за него пойдет?..

О ту пору принес, – едва-едва покос начали, – странник захожий вести страшные. Кончились одни дикие, другие начались. Новый народ в Степи пришел, пуше прежнего лютует. Сгубил князя киевского, и дружину его, богатырей. В честном бою одолеть не смогли, – хитростью взяли. Князь тогда далече от Киева находился, когда принес гонец ему весточку, что осадил город народ неведомый, ни во что славу его ставят, грозят разрушить до камешка, кого мечу предать, а кого в полон увести. Воину собраться – мечом подпоясаться. Не стал князь дожидаться; разделил дружину свою на две части. Большая часть на ладьях отправилась, а он, с малой дружиной, самыми славными богатырями, берегом подался, потому – путь по воде уж больно долог, а тут поспешать надобно.

Того и надобно было врагам. Подстерегли его на речных порогах, навалились всею силою. Храбр был князь, не ведали страха богатыри его; приняли они бой неравный, вступили в сечу лютую, – и полегли, как один. Нет более защитника Киеву, разгорелась замятня за старшинство над землями русскими среди сыновей княжеских, жди теперь снова набегов поганых.

– Неужто все богатыри полегли? – сжималось сердце у Ильи, не верил, отказывался верить он страннику.

– Сколько было с князем – все. Только слух в народе идет, остались те, кто в поход не ходил, – Святогор-богатырь, Микула Селянинович да Вольга Святославич... Но вот чего не видывал, – за то не поручусь...

А еще через пару лет не стало и Тимофея с Яковым. Как жили, так и ушли; в один день вознеслись дымом белым, чистым, к небу синему. Ни ветерка в тот день не было, ни облачка. Тянулись ввысь две полоски, тянулись, да и исчезли. Знать, жизнь прожили по совести, все, что на роду написано было, – содеяли, потомкам своим жить заповедали. Иной уходит – стелется дым, вдоль земли вьется; осталось, значит, после человека что-то незавершенное, может, дело какое на половине встало, а может – обидел кого, да не примирился, – наказ это близким, что пока на свете белом остаются, закончить, завершить, примириться, ежели надобно.

Совсем одиноко стало Илье, без дедов-то. У братьев да сестер своих дел по хозяйству невпроворот, куда уж им безногого развлекать. Прочие в деревеньке тоже приобькли; уже и не жалеют Ивана с Ефросиньей как прежде жалели; раньше спрашивали, как сын, потому – надежда какая-то оставалась. Оставалась-оставалась, да вся и вышла. Можно сказать, забыли про Илью; его по мере лет все реже видеть стали – тяжело отцу выносить его, богатырем стал... По виду.

Илье тоже все тяжеле и тяжеле на свете белом. Слышит он разговоры отца с матерью: позарастать стала пашня, не справляются; еще прежде отец говаривал: подрастет сынок, вдвоем оно поспособнее будет землю от пней высвободить – надел-то их в лесу, часть раскорчевана, а часть так и осталась лучших времен дожидаться. И ведь что за обиду – есть силушка в руках; кажется – встать, пойти в чисто поле, найти кольцо железное, заветное, взять, потянуть – перевернул бы землю-матушку... Вот только не встать никак...

Так минуло еще несколько весен с той поры, как деда ушли.

* * *

...Не спалось Илье в ту ночь. Душновато как-то в избе было, да и мысли невеселые одолевали. Тишина стояла такая, что урони соломинку на пол – грозой прогремит. Слушал поначалу, – не хотелось, а слышал, – как родители, тяжело вздыхая, о дне завтрашнем договаривались; когда корчевать, когда за скотиной уход держать, что еще – дел-то в хозяйстве, невпроворот. Потом собаки перебрехивались, кто-то на улице перекликивался, а затем стихло все. Лишь изредка, в углу что-то шуршало и то ли попискивало, то ли поскрипывало – может, мышь, а может, кикимора. Свет лунный, что в окошко пробивался, поначалу на одну стену тень оконную отбрасывал, потом пополз медленно вниз, по полу, на другую стену перебрался, а Илье все заснуть не мог. Забылся он лишь тогда, когда черный мрак за окном стал потихоньку стал сереть, и не слышал, как поднимались и собирались родители, как ставили рядом, – но так, чтобы во сне не столкнул, – миску с вареной репой, кувшин с молоком, чугунок со щами из свежей крапивы да половину хлеба. Как подались из избы, стараясь не шуметь, осторожно прикрыв дверь...

Разбудил его шум на крыльце; кто-то оперся о перильца, да чуть не слетел; расшатались они, а отцу все поправить недосуг. Сколько грозился, а все что-то отвлекало. Послышались приглушенный возглас, какая-то возня, а потом голос, молодой, звонкий, – не поймешь даже сразу, то ли отрочий, то ли девичий, нараспев произнес, уже в сенях:

– Дому сему – мир и лад, да пребудет он крепок и добром богат. Обойдут стороной его злые болести, минуют печали, минуют горести. Хозяевам милостивым – поклон до земли, не приветите ли путников, что в избу зашли? Пожаловали гости, никем не званные, по белу свету хожалые, люди странные. Шли мы долго, совсем обезножели, так не корите же нас строго, что мы вас потревожили. Нам бы присесть на чуток, да водицы глоток. А коли дадите хлебушка да попотчуете кашей – не будет меры благодарности нашей. Коли примете с ласкою, потешим песнею, а хотите – так и сказкою...

Наступила тишина. Илье вслушивался.

– Нешто нет никого? – неуверенно произнес голос. – А как же сказали...

– Ты постучи, да глянь осторожненько, – отозвался другой, принадлежавший явно пожилому, если не старцу. – Коли нет никого, пойдем далее. Негоже эдак-то, без хозяев...

Дверь скрипнула, приоткрываясь. В образовавшуюся щель осторожно протиснулась голова парня, весен шестнадцать, с всклокоченной соломенного цвета шевелюрой и каким-то озорным девичьим лицом. Быстро обежав взглядом горницу, парень заметил смотревшего на него не мигая Илью, на мгновение замер, затем почему-то весело подмигнул и исчез, не притворив двери.

– Есть хозяева, – радостно поведал он кому-то в сенях. – Да еще какие! На печи лежат...

– На печи?.. – протянул пожилой. – В разгар дня – и на печи?.. Да полно, не помстилось ли тебе? Весенний день он, почитай, год кормит...

– Ну, чего вы там? – буркнул Илье и кое-как сел, привалившись к стене. – Корни пустили, что ли?

– Да нет, – раздался голос парня, – испугались маленько.

Дверь распахнулась. Слегка пригнувшись, словно мог задеть головой о притолоку, хотя проем был достаточно высок, в горницу через порог аккуратно переступил парнишка, – весен десять, – за ним благообразный старец, этот без возраста; последним – парень с соломенными волосами. Чинно встав один подле другого, они поясno поклонились Илье.

– Вы проходите, садитесь за стол, – дружелюбно произнес Илья. – Звиняйте, что не могу встретить как положено. Нездоров я...

– Медведь, должно быть, помял, – вполголоса заметил парень.

Одеты они были одинаково, просто и опрятно. Длинные рубахи чуть выше колена, перехваченные обычной веревкой вместо пояса. Порты до ладоней, онучи. Рубахи и порты серого полотна, недавно тканого; лапти – недавно плетены. Волосы перехвачены незатейливого узора ремешком. Сумы на боку. У парня в руках ореховая палка чуть выше него ростом. У старца за спиной гусли. В общем – люди как люди. Ничего особого, ничего приметного. Мимо прой- дешь, и не вспомнишь, что повстречались.

– Ильей меня зовут. А вас как величать прикажете?.. – Прежде, чем спросить, подождал, пока гости не сядут на лавку. Первым, лицом к Илье, проскользнул отрок, затем, держа его за руку, чинно присел старец. Парень примостился на краешке. Он и отозвался.

– Старшего – Бояном люди зовут. Младшего – Васяткой. Меня – Тимохой, а иные Звенисловом кличут.

– Это за что ж тебя так?

– Ты сказки в детстве слышал? – ответил вопросом на вопрос Тимоха.

– Ну, слышал...

– Помнишь Бабу-Ягу? Она прежде гостей своих кормила – поила – в баньку водила, ну а дальше, там уж как придется... Насчет баньки сами видим, а вот до остального...

– И то верно! – спохватился Илья. – Вы уж не сердчайте. Поотвык я малость от людей. Завсегда либо батюшка, либо матушка гостей привечают, так что... Ты, Тимоха, как в сени выйдешь, там дверь есть, в чуланчик. В чуланчике – погреб, рогожу сдвинуть да крышку под- нять. Редька там, чеснок, грибы... Репа... Каши хотели? И каша там гороховая, в сенях, тулу- пом драным накрыта. Миски и ложки на полках. Хлеб-соль, вот, у меня возьми. И щи из све- жей крапивы... Ведерко с водой колодезной, – вон оно...

Парень пожал плечами, поднялся, взял у Ильи хлеб и мешочек с солью, перенес и бережно положил на стол перед своими спутниками. Туда же поставил щи. Вышел в сени. Было слышно, как он открывает дверь в чулан и чем-то там гремит.

Пока Тимоха собирал на стол, Илья повнимательнее присмотрелся к странникам. Маль- чонка, тот был один в один Егорка Горыныч, хотя какой он теперь Егорка, – сколько лет про- шло... Но только по виду. Того за что Горынычем прозвали? За шалость. Есть гриб в лесу, плотный такой, белый весь, пырховкой зовется. Только белый он, пока сорвать можно, да сва- рить. А когда время прошло – становится он цветом, как медведь. Сверху отверстие. И ежели наступить на него – выпустит облако пыли, не отмоешься. Вот Егорка и придумал: наберет грибов таких, высыплет из них пыль в стебель дягиля, потом как дунет с другой стороны – ни дать, ни взять, змей огнедышащий... А зимой на ледянках – сколько раз себе нос расшибал... Теперь-то уж, небось, семьей обзавелся, давно его Илья не видел. Мальчонка же сидит себе смирененько, глаза в стол уставил, руки убрал, и молчит.

Старец тоже молчит. Степенный такой, хоть и худощав на лицо. Волосы седые, усы пря- чутся в бороде, а борода уткнулась в грудь. Глаза светлые... Хотя, постой-ка... Как же это сразу... Там, где у людей зеницы, у старца – вроде как пленкой светлой подернуто... Ахнул Илья про себя.

Хорошо, Звенислов возвратился. Этому палец в рот не клади, егоза, ровно на гвоздь сел. Иной одну мису целой не донесет, половину порасплескает али порастеряет, – этот сразу пять

тащит. Две на ладонях, две на сгибе в локтях приспособил, и еще одну – на голове. Ба! Еще и ложки за пояс заткнул.

Метнул на стол, снова исчез – снова тащит. Молока кринку, – про молоко Илья и позабыл совсем. Вот тебе и гость; словно век тут жил. Распоряжается... Но с другой стороны – сам же сказал, чтоб на стол собрал. К тому же, в народе как говорится? Гость в дом – радость в дом, все что есть в печи, все на стол мечи. Только это вроде как про званого гостя говорится... А еще, помнится, деды рассказывали, а им – их деды, что будто бы из поколения в поколения предание передается: коли пришел гость, накорми-напои; нет ничего в доме – в лепешку расшибись, укради – а не выпусти из дома голодным да уставшим. В старину за воровство люто казнили – руки рубили без всякой пощады, но коли поневоле, для гостя, тут прощалось. Впрочем, воровство – оно не в обычае было, да и осталось не в обычае – вон они, избы, не заперты стоят, ворота открыты, ежели не ночь...

Наконец, принялись обедать. Степенно, не торопясь. Илья разломил душистый хлеб, – мать в него что-то добавляет, травы какие-то, для запаха пряного и сохранности лучшей; день полежит, не счерствеет, а коли на солнышке немного подержать – так и вообще, будто только что из печи, – посыпал солью. Взял репу. Странники же щам честь воздают. Поначалу старец зачерпнет, выхлебнет, руку к столу опустит; за ним Тимоха, тем же порядком, потом Васятка. Снова старец. Закончились щи, крошки хлебные со стола смахнули с ладони, и в рот. За редьку взялись. Звенислов себе такую ухватил, что и глянуть страшно. Вот ведь уродилась – дубина дубиной. Такой зайца пришибить можно, ежели метнуть удачно. И ведь осилил! Потом репу, с голову величиной, одолел. Грибов мису, с чесноком. Залил ковшом воды колодезной, к стене отвалился, руки на пузе скрестил, глаза в потолок. Лицо счастливое, ровно сто гривен на дороге отыскал.

Васятка со старцем – те менее проворные. Они больше на кашу гороховую налегли, мать давеча большой горшок сготовила.

Наконец, все вроде как насытились. Наелись-напились, мальчонка ложки-миски ополоснул, сохнуть положил. Теперь и поговорить можно.

* * *

– Вы, говорите, много по белу свету странствуете. А вот такие... калики перехожие, вам не встречались? – осторожно спросил Илья.

– Это кто ж такие будут? – встрепенулся Тимоха.

– Ну, это... – рассказал Илья, что от дедов слышал, как помнил, так и рассказал. – Не видали таких?

Мог бы и не спрашивать. Ответ у Звенилова на лице читался.

– Знаешь что, Илья, человек ты, по всему видать, хороший, одно плохо – лет тебе много, а ты все в байки разные веришь. Сказка же, она... Да чего там далеко ходить, обещано было – коли приветят хозяева ласковые, песню пропеть, сказку рассказать. Насчет песен, тут я не силен, врать не буду, это ты Бояну поклонись, а рассказать...

Не зря народ прозвания дает, ох, не зря! Зазвенели слова, полилась речь ясная, чистая, озорная. Позабыл Илья о своем недуге, слушает. Вроде и не в избе он, а там, где действие происходит. Тимоха же, как нарочно, такие потешки выдал, что только посреди мужиков и рассказывают. Их еще заветными называют. Про то, как заяц обещался лису осрамить; один раз обещался, а вышло трижды. Да про то, как молодец с купцом рассчитался, когда тот его в работники нанял, а ничего за год не заплатил, – обманул. Ну, ту самую, когда он еще лошадь с телегой поперек забора перепряг, когда купца дома не было, одна купчиха оставалась... Еще чего-то. И как рассказал: ни одного слова запретного, срамного, обидного не произнес. Илья

хохотал, – на другом конце деревни слышать было, – аж покраснелся весь, ровно после бани. Смолк, наконец, Звенислов, а не то – уморил бы до смерти.

Вытер Илья глаза, – рукава у рубашки мокрыми стали, и не заметил как, – спохватился. – Да что ж ты при малом-то такое? – спросил с укором.

Тень пробежала по лицу Тимохи.

– Повоевали дикие деревню, в которой он с отцом-матерью жил, – тихо сказал он. – Что смогли – забрали, остальное – огнем пожгли. Отца на дворе... Мать – в полон. Сам чудом в живых остался... Выше сердца копье прошло. Выходили. Вот только с поры той – не говорит и не слышит.

– Что, совсем? – сказал, чтобы хоть что-то сказать, Илья. Глянул на Васятку, и так его болью прошибло с макушки до пяток, что мало волком не взвыл.

– Ну, не то, чтобы совсем...

– Это как же прикажешь тебя понимать?

– А как хочешь, так и понимай. Ты лучше вот что: поклонись Бояну, да попроси спеть-сыграть. Может, тогда и поймешь.

– Как же я поклонюсь, если... нездоров сильно...

– Медведь, что ли, помял? – Дался Тимохе этот медведь, опять ведь вспомнил.

– Нет, не медведь... С чего взял?

– Так на тебя гляючи. Неужто существует на белом свете такая хворь, чтобы эдакого богатыря одолела?

– Знать, существует...

– Медведь, он перед тем как напасть, на задние лапы встает, – глядя в упор на Илью, ни к селу, ни к городу завел Звенислов. – Потому в древности, когда на него с рогатиной и ножом ходили, время улучали. Встанет он на дыбы, раскинет лапы, тут ему рогатину под пасть... И рука должна быть верной и твердой, о втором ударе речи нет...

– А коли нет рогатины? – К чему это он разговор такой завел?

– Зубы у него, и когти страшные. Не убежать, не на дерево влезть, потому – проворен. Так что думай...

– Не пойму я, – Илья покачал головой. – С чего это ты про медведя-то?..

– Да так, к слову пришлось... Кланяйся, говорю, Бояну.

– Ну что ты пристал к человеку, ровно репей, – неожиданно вступил в разговор старец. – Сам же сказал, и человек хороший, и встретил приветливо, и напоил-накормил.

Он неторопливо сунул руку за спину, потащил гусли и положил их перед собою на стол.

– О чем же тебе спеть-то? – задумчиво протянул старец. – А вот хотя бы и эту...

Как над тем-то да над городом Черниговом,
Да над тем-то селом да над Березовым,
Восходило в чисто небо солнце красное...

И опять – не в избе Илья, ни слов не слышит, ни струн перепев. Видит он деревушку возле озера, рощу березовую, дорогу, вдаль змеей извивающуюся... Словно парит он на крыльях в вышине подоблачной над землей. Ладная деревушка, такая же ухоженная, как и ихняя, только размерами поболее. На озере – лодки, на полях – ратаи, на огородах – бабы, ребятишки – по улице носятся. Один в один, почти, как у них. Ан нет, кузня есть, и мельница тоже.

А потом увидел Илья, вымахнула из леса туча черная, понеслась через поля к деревушке. Не сразу понял, что это дикие. Только как понял, крылья сложил свои невидимые, чтобы сверху орлом броситься, – нет, не дано ему вступить. По-прежнему парит он в вышине, сердце из груди рвется, из уст – крик неслышимый, а поделать ничего не может. Внизу же искорки зажглись, понеслись молниями, ударили в ближние крыши, огнем к небу взметнулись...

И вот уже Илья не в небе, – посреди улицы. И видит, и слышит, а двинуться по-прежнему не может. Гудит пламя, сизый дым по земле стелется, не продохнуть, мечутся люди, пытаюсь спастись от всадников, да только где там... Свистнет стрела, – уткнется в траву тот, кто мгновение назад *живым* был. Метнется гадюкой черной аркан, – поволок всадник того, кто мгновение назад *свободным* был. Мелькнет в дыму клинок, коротко торкнет копьё – пошатнется и припадет на колени тот, кому на роду написано было, постоит так да и опустится мягко, ровно вздремнуть прилег. Вой, крики, треск огненный, ржание, грохот изб оседающих – бьется в голове Ильи единым боем, – но не отвернуться, ни глаза закрыть, ни уши заткнуть...

Сколько прошло времени, спроси – не ответит. Может, час, а может – несколько мгновений. Только за это время столько увидел, – больше, чем за всю прожитую жизнь. Иным такие видения волосы в зимний цвет красят, Илья очнулся – с такой силой пальцы в камень печной впились, как только в песок не искрошил... Сердце из груди рвется, воздуху не хватает, слезы злые глаза застят... Все сам видел, о чем Тимоха умолчал. И как пал под саблей ратай, с вилами на всадника кинувшийся, как другой всадник поволок на аркане жену его, мать Васяткину, и как сам мальчик, бросившийся вслед, напоролся на копьё и упал, истекая кровью...

А в избе тихо. Ни звука. Старец гусли снова за спину задвинул, глаза невидящие веками прикрыты. Застыли Тимоха с Васяткой, ровно деревянные.

Сколько так просидели – неведомо.

Наконец, Звенислон поднялся.

– Ну что ж, хозяин ласковый, спасибо тебе, за то, что напоил-накормил, отдых дал путникам усталым. Пора нам. Кваску, напоследок, не найдется ли?

– В чулане, на полке. Кринка там, рядом с ковшом, который в виде ладьи. Старенький такой ковш, почернел уже. Только, боюсь, и того не наберется...

И точно, не набралось. Принес Тимоха, едва больше половины ковша. Старцу протянул, сам глоток сделал, Васятку попотчевал, поставил на стол. Взял в руки палку свою ореховую. Поднялись люди странные, стали в дверях, поклонились поясно.

– Бывай здоров, хозяин. Извини уж, что потревожили, ежели что не так...

– Так, не так, перетакивать нечего... Эх, страннички! – воскликнул вдруг Илья и шарахнул кулаком по печи. – Разбередили сердце молодецкое!.. Что же это? Как же это? Дикие там дома разоряют, детей сиротят, а я здесь...

– А я здесь... – поддразнил Звенислон. – Кто ж виноват, что ты здесь? Ступай в Киев, там новый князь дружину набирает, ему богатыри нужны. А пуще земле нашей, матушке...

– Пустобрех ты! Сказано же было, нездоров я, немощен...

– Погоди, погоди, – Тимоха прищурил глаз. – Нездоров, или немощен?..

– Ноги у меня не ходят, – буркнул Илья и устался в угол.

– А в руках силушка есть? Ну-ка, держи палку.

Звенислон протянул Илье орешину и, как только тот, не понимая, зачем, ухватил ее за конец, – дернул. Даром что выглядит неказисто, – слетел Илья с печи, – и об пол со всей дури.

– Да ты... Да ты что... – вскочил на ноги и замер с открытым ртом.

Сколько лет на ногах не стоял, уж и надежду потерял, и вдруг...

– Ты, Илья, на лавку присядь, да кваску хлебни, – услышал он насмешливый голос Звенислового. – А то, не ровен час, от радости с ума соскочишь, как с печи летел...

Не помнит себя Илья. Присел на лавку, ухватил ковш, махнул единым разом. Не квас по горлу, огонь живой побежал по жилам; дыханье сперло, тело силушкой наливается, ровно растение по весне соком земным.

– Ты только того, охолони сперва маленько. Снова на печь, и в себя приди. Дров не наломай. Подумай и реши, что да как. А нам пора.

Какой там – на печь. Выскочил Илья из горницы, ухватил Звенислового за плечо, к себе развернул.

– Кто же вы, люди хожалые, люди странные? Уж не те ли самые калики, о которых мне деды рассказывали?..

– Ты, Илья, думай себе как хочешь, твоя воля, а только ежели придется когда тебе по жизни с каликами столкнуться, обходись с ними ласково, приветливо, вот как с нами обошелся. Обиды не чини. Запомни еще: коли приведет тебя дорога в дружину княжескую, не вступай в рать с Святогором-богатырем, потому – первый он среди прочих остался; ни с Микулушкой Селяниновичем – любит его мать-сыра-земля, не даст в обиду; ни с Вольгой Святославичем – этот не силою, хитростью возьмет. Коли последуешь этому совету, – не написана тебе смерть на рати; коли не последуешь... Ну да сам не дурак...

– Погодь... погодь еще немного. Как... чем я могу отблагодарить вас?..

– Нас?.. Ты не нас, ты бабе спасибо скажи, что нам твой двор указала.

– Бабе?.. Какой бабе?..

– Откуда ж мне знать?.. Плотная такая, лицом светлая... Да, глаза у нее еще зеленые-пре-зеленые...

– Должно быть, Велеслава... Больше некому...

– Может, она, а может, и нет... – Тимоха с улыбкой взглянул на Илью. – Ты еще вот что не забывай: зубы у медведя, и когти страшные... Про дружину подумай, про землю нашу... А теперь – прощевай.

– Еще одно слово: увидимся ли когда еще?

– Гора с горой не сходится, Илья, а человек с человеком... Не горы, чай. Свидимся.

И пошли себе со двора.

Только вот что удивительно: сколько потом Илья не выводывал остороженько, никто из деревенских странников не встречал...

* * *

Давно уже скрылись за воротами люди хожалые, а Илья все никак места себе не найдет. Переполняет радость грудь молодецкую, рвется наружу, не удержать. Вбежал в избу, ухватил лавку, поднял, на место ухнул; стол ухватил – и этот, легче перышка. Мало, наружу не выкинул. Кровь играет, себя не чувствует. Сдурел совсем, что глухарь на току. Верит – и не верит, боится поверить. То в присядку пустится, – неловко, смешно, да кто ж осудит-то? То в сени выскочит – к Велеславе бежать, в ножки кланяться. Утомонился наконец, присел на лавку, голова пустая, рот до ушей – дурачок деревенский, да и только. Поднялся, выскочил в сени, сунул голову в кадку с водой, – и обратно на лавку. Как быть, что делать? Правду Тимоха сказал, охолонуть маленько надобно, в себя прийти, поразмыслить.

А как Бояна с Васяткой вспомнил, так и совсем радость отхлынула. Беда на Русь вернулась. Усмирили одних диких, исчезли они с лица земли, – другие пришли на их место. Такие же свирепые, волки степные хищные. Богатырей князь в дружину ищет, новых заместо старых. Неспроста странники в избу к нему заглянули, ох, неспроста. Знать, не суждена ему жизнь мирная, хлебопашеская. Знать, лежит его дорога в Киев-град, ко двору княжескому.

Но что же отец с матерью? Как же они? Один ведь он у них... Не успеют порадоваться, что сын их снова на ногах, что сбылась мечта их давняя, заветная, а он... Поклон вам земной, отец-матушка, прощевайте, ждет меня дорога дальняя да подвиги славные, богатырские? И то сказать, какой из Ильи воин? Он сроду никакого оружия в руках не держал. Хотя, по правде, он и пахарь никакой.

Нет, правду сказал Тимоха, тут с кондачка не решишь.

Вернулись отец с матерью. Лежит Илья на печи, как прежде. Сказал, что заходили странники, передохнули маленько, и пошли себе дальше. Приветил, как мог. Только Ивану с Ефросиньей не до странников. Умаялись, а еще по избе дел – не переделать. Пока ужинали, все про

пашню разговор вели. Позаросла сильно, пни, кажется, с каждым годом все дальше и дальше корни пускают. Лес придвигается, скоро совсем от надела ничего не останется. Хорошо бы родственников на помощь позвать, да куда там – у них самих то же самое. Поужинали – мать корову доить, отец – стучит чем-то возле огорода. А Илья на печи думу думает, да времени подходящего ждет.

Дождлся, наконец. Утомонились в избе, утомонились в деревушке. Слез Илья с печи, прислушиваясь постоянно, как бы ему отца с матерью не потревожить. Не потревожил, силы у них уже не те, подустали. Разложил полушубок, прикрыл рогожей, так, чтобы видимость осталась – здесь он, никуда не делся. А сам, в три погибели согнувшись, к двери, приотворил потихоньку – не выдала скрипом, – и на двор. Выпрямился, раскинул руки во всю ширь, глотнул воздуха, ночными ароматами пропитанного. Не очень погода, месяц наполовину вороны склевали, облачка понабежали, – ну да выбирать не приходится. Хорошо, ветерок свежий.

Крадется вдоль забора – ровно тать какой. Ровно не на дело доброе отправился, а озоровать. Крадется, и сам себя вразумляет. Ведь и впрямь – озорство. Возмужал уже, почему не открылся родителям? Выложил бы все сразу, просто и ясно, что в отсутствие их приключилось. Сначала поведал осторожно, потом сел аккуратно, слез... Только что уж теперь об этом рассуждать. Коли уж решил без головы, так хоть дальше бы не обмишуриться.

Счастье пока сопутствует – ни тебе навстречу кто, ни собака учуяла. Да и недалеко до околицы – две избы оставил за спиной, вот тебе до леса и рукой подать. Если б не запинался на каждом шагу, по сторонам не оглядывался. Не только, чтобы не заметили, а больше – внове все. Сколько лет на улицу не выходил... Вроде как знакомо кажется, а вроде и нет. Ну да времени нет, поспешать надобно. До надела-то отцовского – трое поприщ. Пока туда, пока обратно, там еще сколько. Ежели по тому судить, как родители промеж себя говорили, за один раз не совладать.

Вышел Илья за околицу – бегом припустился. Пока поприще до лесу пробежал, пару раз к земле приложился. Поразбили дорогу телегами, повывернули комьев с камнями; добро бы еще луна полной была, или облака ветром поразвеяло, посветлее – оно и сподручнее.

Идет по лесу. Попритерпелись глаза к темноте, попроще стало. Кажется ему – придвинулся к деревушке подлесок. Некоторые деревья узнает – какими были, такими остались; могучие, кряжистые, не властно над ними время. Иных нет – должно быть, на дрова пошли. Тихо-то как... Только живая тишина, не мертвая. Коли остановиться да постоять, замерев, много чего услышишь. Тут тебе и шорохи, и побряхтыванье, и шелест, и уханье... В другой раз постоял бы, а сейчас поторапливаться надобно...

Вот он, наконец, надел отцовский. То ли от того, что вырос, то ли от того, что лес свое забирает, чуть не вполовину меньше кажется, чем когда в последний раз видел. С одной стороны, к дороге ближней, взрылена земля; видно, тут и расчищали. Пара ям больших, – интересно, какого ж размера пни в них сидели? Эге, да тут таких не один и не два осталось, – с десяток, если не поболее. И чего, дурья голова, топор не прихватил? Спрятал бы в сених топор, пару клиньев, все дело веселее б было. Неужто голыми руками такие махины своротишь?.. Так ведь не бежать же обратно. Глаза бояться – руки делают. Сколько смогу, выворочу, а остальное – завтра.

Подошел к ближайшему, обошел вокруг. Боятся глаза... Выбрал, где корень потолще из земли вывернулся, наклонился, ухватил поудобнее, потянул. Тот и не шелохнулся; нет веры у Ильи в силу свою, потому и не шелохнулся. И так, и сяк тянул Илья, ничего не выходит, только взопрел весь. Отпустил корень, пошатал пень – крепко врос, присел, пот отер. Посмотрел на ладони, провел ладонями по портам. Вот тебе и богатырь русский, подумалось, в дружину княжескую собрался, диких воевать, а с пнем совладать не может. Подступила обида к горлу, а тут еще Васятка некстати вспомнился. Или кстати?..

Чувствует Илья, зашевелилось что-то в нем, забурлило, побежало по всему телу волной горячей. Встал, – не видит ничего, кроме копыя того, да мальчонки лежащего, с раной кровавой. Наклонился, ухватил корень, – словно нитку гнилую из земли вырвал. Один корень, второй, – вот уже половина пня свободна, – теперь за комель, как давеча лавка пушиной показалась, так выполз, побряхывая, пень из земли, досадуя, что не устоял, что поддался силе человеческой.

Глянул на него Илья, усмехнулся. Что, не по нраву? Взял, за что попало, да и метнул куда-то в темноту. К себе прислушался. Играет сила, течет по телу потоком огненным, но не жгучим, к делу просится.

Второй пень за первым последовал, и не заметил как. Вроде только ухватил, а вот он уже весь рядом, будто сам выскочил. И его за спину метнул, куда подальше, потом как-нибудь соберется.

Месяц по небу вершков на пять – шесть подвинулся, как Илья пришел, а уж весь надел и расчищен. Не полностью, конечно, поросль молодая осталась, ну да ее повыкорчевать, – час времени. До света еще далеко, а другие наделы – вот они, рядышком. Чьи они, разве вспомнишь? Так это и не важно.

Раззадорился Илья. Выскакивают пни, один за одним, точно чеснок из кувшина. Кряхтят, улетают во тьму. И не видит, как показалось из леса ровно облако темное. Ростом повыше человека будет, да и в обхвате поболее. Замерло, затаилось. Выжидает, должно быть.

А Илье некогда. Во вкус вошел. Дернет – метнет, дернет – метнет... Пока не попался наконец такой, что заартачился. Не хочет из земли выбираться, да и все тут. Только Илье упрямства не занимать стать. Присел, ухватил за корни с обеих сторон, уперся ногами, и начал потихоньку выпрямляться. Жилы вздулись, дрожь по телу пошла. Чувствует: то ли подниматься начал, то ли в землю уходить. Ан нет, поддается, вражина. Понемногу, а поддается. Месяц выглянул из-за облачка, дивуется. Блеснуло вроде что-то под ногами, звякнуло вроде. Нельзя бросить, посмотреть. Дашь слабинку – упустишь удачу. Это как шуку тащить. Держи веревку в натяг, чтобы сопротивление чувствовать. Чуть провиснет – выскочит рыба из воды, мотнет головой – и пошла себе гулять. Хорошо еще, крючок оставит. Крючки, они больно дорого стоят...

И не видит, как за спиной у него облако черное, столбом тумана застывшее, к нему двинулось. Двигается, и меняется на ходу. Снизу подобралось, сверху раскинулось, раздалось в стороны. Рев страшный раздался, про такой говорят – деревья к земле клонит.

Оторвался Илья от пня, – тот так и остался наполовину из земли торчать, – оглянулся. Идет к нему медведь, – огромный, черный, глаза красным горят, пасть раззявил. То на четыре лапы встанет, то на две задние приподнимется, головой из стороны в сторону помахивает. И ревет.

Видит Илья – не скрыться ему, не спрятаться. Под рукой нет ничего, только пень. Это только для тех зверь неуклюжий, неповоротливый, кто о нем только из сказок знает. Только в сказках от него убежать или на дерево забравшись спастись можно. Коли б такое въяве, иной бы зверь в лесу хозяином был.

А медведь все ближе, вот уже и на лапы задние встал, сейчас бросится... «Зубы у медведя, и когти страшные...», «...рогатину под пасть...» Само как-то на ум пришло. Спасибо, Тимоха, пока жив, помнить буду... И Илья, очертя голову, сам вперед бросился. Наклонился слегка в сторону, чуть пригнулся – чтобы когтей избежать, да и обхватил чудище лесное поперек туловища, под лапами, вжавшись головой под пастью раскрытой.

Взревел медведь, так взревел, что мало голова не лопнула, однако ж поделаться ничего не может. Сучит за спиной у Ильи лапами, над ухом чавкает, – только слюна из пасти летит, – давит тяжестью. Да только не на того напал. Уперся человек ногами в землю, противостал силе силою, а тяжести тяжестью, нет зверю дикому ни в чем преимущества. Душит запахом тяжелым, а тот его – объятиями крепкими, из которых не вырваться...

Чувствует Илья, слабеет медведь, поддается. Теперь главное – самому не оплошать. Только слышит, вроде как шепчет ему-то на ухо. Невнятно так, не разобрать, но слова вроде человеческие. Шалишь, сила вражья, не обманешь мороком. Однако ж, неволею, прислушался.

– Пус-ти, Иль-я... Пус-ти, го-во-рю... За-да-вил сов-сем... Тво-я взя-ла...

Будь что будет!.. Нельзя вот так, о милости просящего, жизни лишать... Нешто мы дикие какие?..

Разжал Илья руки, отскочил в сторону, смотрит с опаскою. А медведь охнул как-то по-человечески, да и обмяк. Только-только горой возвышался, а склонился, от пня, что рядом, не отличиться. Приподнялся, набрал воздуха, повздыхал часто, дух перевел. Глядит Илья, диву дается. И не медведь перед ним вовсе, человек в тулупчике, на правую сторону запахнутый. Не ровен час, никак самого едва не задавил...

– Вот ведь медведь какой уродился, – буркнул хозяин и присел на пень.

– Так это ж не я медведь, а ты... Чего прикинулся-то? Не мог по-доброму? Показался бы, сказал, в чем дело. Ты ж меня мало жизни не лишил...

– Это еще кто кого мало не лишил... Думал, пугану – и уберется. А ты не из пугливых оказался. Думал – помну слегка, да и отпущу, а ты меня самого помял... Не обижен, силушкой-то.

– Да ладно тебе, – говорит Илья, и сам себе дивится, вот так, запросто, с хозяином? – Кто старое помянет, тому глаз вон. Чего пугать-то вздумал? Нешто тебе пней жалко? Сам погляди, разве ж это пашня? Позаросло все... Пни торчат...

– Пней жалко... Не пней, да не всех. Все – они обыкновенные, а ты за заговоренный взялся.

– Заговоренный?.. – Илья ушам своим не поверил.

– А ты глянь, что под ним. Глянь-глянь, не бойся, сказал же, твоя взяла...

Слез, отошел в сторонку. Наклонился Илья, глядит. Как раз месяц из облаков выбрался, осветил яму, а в ней – посуда всякая, желтого да белого металла, кружочки, украшения. Никак клад?

– Не маленький, знать должен, – вздохнул хозяин. – Когда на сохранение в лесу оставляют, кого приглядывать просят? С кем договор заключают? То-то же. Давно лежит, хозяев, небось, и в живых давно уж нету. Твой он теперь, забирай. На вот тебе мешок. Только вот, Илья, над чем подумай. Сумел взять – сумеи распорядиться. Не сумеешь – хлебнешь горюшка; сам погибнешь, и других погубишь.

– А ты что посоветуешь?

– Я в людских делах не советчик... И вот что: ты тут наозорничал, днем исправить все надобно будет.

– Это что же я такое наозорничал?

– От людей услышишь. Прощевай, Илья. Не забуду, как ты меня давил, но и что сердца послушал, – тоже не забуду. Коли не тебе, так сродственникам твоим помогу. Окорот дам лесу, чтобы пашен ваших не глушил. Со зверьем помогу, как время охоты придет. А теперь прощай.

Поднялся, и исчез в лесу. Покачал головой Илья, надо ж такому случиться, рассказать кому – не поверят. За дурня сочтут. Собрал золото-серебро, уложил в мешок, выхватил пеня, швырнул в темноту, и пошел к дому.

* * *

...Проснулся Илья поздно, и сразу услышал, как родители шумно разговаривают о чем-то возле крыльца. Прислушался. Чудные дела случились нынче ночью. Какие-то неведомые силы раскорчевали наделы, а пни побросали в овраг так, что перегородили течение Агафьи. Оно, конечно, доброе дело сделали, но так созорничать – лучше бы совсем не делали. Сами бы

справились. Деревушка гудит разговорами, ровно потревоженный улей, а никто ничего толком сказать не может. Никто ничего не видел, не слышал. Так вот о чем хозяин речи вел... Что ж, оно и к лучшему. Не век же на печи скрываться. И отцу-матери открыться надобно, и поправить, что ночью не видя натворил. Позвал негромко. Вошли родители.

– Ну что, сынок, проснулся? – ласково спросила Ефросинья. – Кушать будешь?

– Я это, – буркнул Илья, точно в омут с головой.

– Что – ты?

– Слышал я, как вы с отцом возле крыльца разговаривали... Ну, про озорство... Не знаю, как уж и сказать... Ну, в общем, я это созорничал... Не со зла... Не видно было...

Переглянулись Иван с Ефросиньей. Вдохнули. Была одна беда, стало две...

– Ты, Илья, приляг пока. А я покамест за Велеславой... – пробормотал Иван, глядя в угол. Ефросинья отвернулась, слезу смахнула.

– Да нет же, батюшка, – не знает Илья, как и говорить, язык застревает. – Не все сказал я вам, ну, про странников тех, что давеча приходили... Вы присядьте, послушайте...

Присели родители. Начал Илья рассказывать. Как мог, через пень-колоду. Все больше в потолок смотрит, лишь изредка глаза скашивает. Видит: не верят ему; хотят верить, а не верят.

Поднялся Иван.

– погоди, Илья, погоди. Сейчас мать тебе поесть подаст, а я все ж таки пока за Велеславой...

– Батюшка... Нет уж, это ты погоди...

И не успел Иван и шага шагнуть, рывком поднялся Илья на печи, сел, свесив ноги, соскользнул, встал, – руки в стороны. Зато Иван на ногах не удержался. Запнулся, и на лавку. Рот раскрыл. Ахнула Ефросинья, закрылась ладонями. Смотрят родители – глазам своим не верят.

– Матушка, батюшка! – бросился Илья перед родителями на колени, обнял, зарылся головой. – Вы уж простите, не знал, как вам открыться... Сам не сразу поверил... Помочь решил... Вот и натворил...

– Илья... Илюшенька... – шепчет Ефросинья. Не может слез остановить. И сказать ничего не может.

– Ты, что понатворил, исправить должен, – Иван тоже не знает, что сказать. Дрожит голос; руку поднял – ущипнуть себя хотел, уж не снится ли, – так и рука дрожит, ровно у старика векового.

– Радость... радость-то какая!.. – вскинулась Ефросинья. – Что же это... к родным надо... к соседям... всех звать... столы накрывать... радость-то...

Схватила, и выскочила из избы.

Вышли и Илья с Иваном. Глядь – а уж народ подходит. Мнутя в воротах, друг друга вперед подталкивают. Сколько лет мимо ходили... Бабы из-за столбов приворотных выглядят, ребятишки. А вдруг ослышались, вдруг померещилось... Нет, не померещилось. Вот он, Иван, а вот, рядом с ним, Илья. Улыбаются оба приветливо, руками машут: чего замешкались, проходите. Илья-то, Илья!.. Не узнать, как мальчиком был. В плечах раздался, усы, борода, стоит крепко, и силушки, видать, не занимать стать. Подходят сельчане, робеют. Иван с Ильей – навстречу. Слово за слово, разговор поднялся. Ну, тут уж осмелели.

Получаса не прошло – едва не вся деревушка на двор к Ивану сбежалась, разве уж совсем немощные по домам остались. Удивляются, расспрашивают, шум, гам. Бабы Ефросинью обступили, а та никак в себя от радости прийти не может, – плачет и плачет. Во всю жизнь, должно быть, столько слез не извела, сколько за эти полчаса. Велеслава пришла. Ей Илья уже совсем было в ножки поклониться собрался, да только зря. Не видела она никаких странников, никому про него не рассказывала, никого на двор не посылала. Да разве ж это важно?

Видит Илья, – все кто мог пришли, – на крыльцо поднялся, слово сказать.

– Вы уж извините, люди добрые, – развел он руки в стороны, – никакая это не вражья сила Агафью пнями запрудила. Я это... Не со зла или озорства, темно было, не видел, куда складывал. Исправлю все. Вот сейчас прямо пойду и исправлю...

Наступила тишина. Потом кто-то недоуменно произнес:

– Да нешто такое возможно, одному-то? Али тебе помогал кто?

– Никто не помогал. Сам справился.

– Да ну... Быть такого не может... Чтобы столько повыворачивать, да в реку покидать... Ты, Илья, хоть и оздоровел чудесным образом, а все ж таки не того... Не морочь, людей-то... – зашумели сельчане.

– И не думал морочить... Я и доказать могу, что сам все понатворил...

– Это чем же ты докажешь? Пни, небось, все повыверганы...

– А вот чем.

Зашел Илья в избу, вышел с мешком.

– Я, когда пни дергал, нашел кое-что. Не мое это, не мной положено, не мне и владеть. Пусть старики решают, что с этим делать. Потому как, по разуму моему, всему обществу это принадлежать должно.

Сказал, да мешок и опрокинул. Полилось на землю серебро-золото, живым потоком, полилось, зазвенело. Те, кто рядом стоял, в стороны прянули; показалось им, будто змея на солнце чешуей блеснула. Притихли все. Смотрят, дивуются. Вот ведь денек выдался: сколько лет один на другой похожи, а тут – чудес, как из ведра.

– Я вот что думаю, – хоть и не самый старший здесь Иван, однако ж у него на дворе сход невольный собрался, к тому же, как-никак, сын его богатство отыскал. – Надо бы посуду эту, да украшения в город свезти, продать, а на вырученные деньги кузню построить, кузнеца пригласить, давно собирались. Отложить часть, на подати. В общем, так распорядиться, чтобы всем от клада этого польза была. Ну да вы решайте пока, мы же с Ильей пойдем озорство исправлять.

Пошли они. Идут, Илья отцу снова и снова про странников рассказывает. И про клад, как он ему достался. Поведал и про хозяина. Пока Ефросинья по деревушке бегала, он отцу коротко разъяснил, что да как, Иван и решение принял. Сразу, не задумываясь. Оно и правильно: с возрастом человек мудрее становится, жизнь повидавши-то... А еще про сон странный.

Илья, как вернулся, только головой к тулупу прикорнул – так словно куда провалился. И снится ему, будто идут они с отцом вдвоем по дороге лесной, вот как сейчас. Беседуют о чем-то. И идут они вроде как к наделу своему. Уже почти лес миновали, навстречу им человек. Жеребенка ведет, невзрачного такого. Лошадь, чтобы под плугом ходить, и стать должна иметь соответствующую, а этот... Прошли бы дальше, да тут вроде как туманом дорога подернулась, и человек тот, с жеребенком. И вроде как голос раздался, женский. «Ты, Илья, как к мешку своему наведешься, сунь в него руку. Ни украшения, ни посуду, ничего не бери. Возьми первую монетку, какой коснешься. Сохрани ее, с собой носи. Глядишь, и пригодится когда...» Вот и весь сон.

– Так ты что же, так и сделал, как сказано было?

– Так и сделал... Я, вишь ты, только это и запомнил, из всего сна-то. Подумалось, а вдруг домовый нашептал? Да и не убудет от богатства этого, от одной монетки...

– Что ж за диво за такое, монетка эта?

Илья, вместо ответа, достал из портов тряпицу, развернул, отцу протянул. Круглая, должно быть из серебра. На одной стороне конь с крыльями имеется, на другой – вроде как богатырь какой-то иноземный, с дубиной. Повертел Иван, отдал. Никогда таких прежде не видывал. Пусть ее, есть не просит. Сейчас главное – перед Агафьей извиниться. Расчистить ей

русло, дать волюшку, а пни сложить где-нибудь, чтоб не мешали. Потом спалить можно будет, а угли по полям раскидать, для урожая...

Жизнь недаром с рекой сравнивают. Где тихая, спокойная на много верст; изогнется лениво, и снова несет воды, ровно дремлет. А то вдруг сорвется с кручи, помчит, закусив удила, закрутит, завертит... Так и у Ильи вышло; все, что за столько лет не прожил, в день да ночь уместилось. Полетело, как на санях с горки. Только рай леса показался, мужичок навстречу, жеребенка ведет за недоуздок. Не такие, как во сне, но все ж таки... Переглянулись Иван с Ильей. Ох, неспроста все это.

А мужичок идет себе, хворостиною машет. Почудилось Илье, как приблизился, будто глаза у него разного цвета: один карий, другой зеленый. Жеребенок же ладненький, только для пахоты не пригоден. Это Иван подметил и шепнул.

– Здоров будь, мил человек, далеко ли путь держишь? – поприветствовали они мужичка, как подошел.

– И вам поздорову быть, – отвечал тот. – Вот, иду конька продавать.

– Так это тебе в город надобно. А город, он в другую сторону...

– Что мне город? Хороший гость, – он везде товар продаст.

– Нешто ты гость?

– Гость – не гость, а красный товар имеется.

– Шутишь? Какой же он красный? Ему красная цена – полгрявны в базарный день.

– Как же не красный, коли ты уж и торговаться ладишь?..

– Чудно просто... Сколько ж ты за него хочешь?

– Сколько хочу – про то сам ведаю. Я его, может, не каждому и продам.

– С такими ухватками – по миру пойдешь... А ну как людишки лихие встретятся, – задаром возьмут.

– Как возьмут, так и отдадут. Не простой у меня конек – заговоренный. Я его, прежде чем на продажу вести, к знахарке сводил. Та на него заклятие и наложила. Только доброму человеку служить будет, да еще такому, кто его купить сумеет.

– Велика хитрость – коня купить... Говори, сколько просишь?

– Ты прежде в зубы ему глянь, бабки пощупай, а там уж и решим.

Только было Иван потянулся в зубы жеребенку глянуть, тот фыркнул, заржал тоненько и едва не укусил его за руку. Успел отдернуть.

– Не по тебе конек, – вздохнул мужичок. – Непродажный, выходит.

– А мне можно? – спросил Ильи, до сей поры не вмешивавшийся в разговор.

– А погляди; за погляд денег не берут...

Смирно стоял жеребенок, пока Ильи его обсматривал да общупывал. Поняли отец с сыном, к чему дело клонится, только виду не подают.

– Дорого просишь? – спросил, наконец, Илья.

– С тебя – недорого. Всего-то одну денежку. Коли есть – так бери, а коли нет – прощайте.

– Какую же мне тебе денежку дать... Разве вот эту? – И протянул ему Илья ту, что у него завернутой была.

Взял мужичок платок, развернул, достал денежку, повертел туда-сюда, на зуб попробовал.

– А хоть бы и эту. Держи, – протянул он Илье платок и недоуздок. – Ты теперь вот что сделай. Ты его отдельно от других поставь. Корми отборной пшеницей. Не пускай со двора три месяца. Минет срок – выводи в чисто поле на рассвете. Пускай в трех росах искупается. Назад ведешь – пусть через забор перепрыгивает. Как перепрыгнет с улицы на двор, а со двора на улицу – с той поры не будет в целом свете коня лучше. Только тебя слушать будет, только тебя

носить, или не только тебя... – Мужичок глянул на Илью прищурившись. – Сам увидишь. – К Ивану повернулся. – Говорено тебе было: хороший гость – он везде товар продаст? Так-то вот.

Спрятал денежку, повернулся и пошел себе – хворостиной помахивает. И Иван с Ильей дальше пошли, запруду разбирать. Вот-вот покажется, когда остановился вдруг Илья.

– А народу-то чего скажем, про жеребенка-то? – спросил он. – Ведь ни весть что подумают. И исцелился, и клад нашел, и наделы почистил, и еще коня привел...

– Вот и я о том же думаю, – почесал затылок Иван. – Народ у нас хоть и добрый, а не глупый. Ежели правду рассказать... Мне бы такое рассказали, не поверил бы. Время выгадать надобно. Гость этот что говорил? Три месяца его на дворе держать, отдельно от других. Ну да у нас окромя Серко других-то и нету. Мы давай вот что сделаем. Как работу покончим, я прямиком к избе пойду, а ты с жеребенком – задами. Возле огорода привяжи, а ночью, как разойдутся, мы ему пристроечку временную сделаем. А там глядишь, что-нибудь и придумается. Ах ты ж, вражья сила!.. Ты глянь, чего понаделал-то!..

Глянул Илья – и про жеребенка думать позабыл. Сколько ж пней он за ночь выворотил?... Устроил запруду мало в два человеческих роста. Там, где речка протекала, пусть и маленькая, только лужи да ручеек, – воробей перепрыгнет. Растения водные повытянулись; были свежие, зеленые, а теперь припекло их солнышком, сомлели совсем, повяли. Рыба в лужах плещется, которая вслед за водой уйти не успела. А по другую сторону завала поднялась, плещется, тонкими струйками сквозь пни да окрест них новую дорогу ищет. Тут как к делу приступить, непонятно. Дернешь не за то, обрушится плотина, даже и думать не хочется, что случиться может.

Так прикинули, эдак, и вот что порешили. Надобно воде хоть какой простор дать. С одного берега ближний пень убрали, вниз спустились, на другой перешли, там убрали. Потом посмелее за дело взялись, по нескольку зараз выволакивать стали. Это хорошо еще, что Агафья и прежде полной водой не баловала, да и дождей не было. Только все доставать не стали. С умыслом оставили. Тут русло везде ровное было, а стало с разливом. Пни – они для хищника прибежище. Для окуня, щуки, налима... И ребятишкам поплескаться есть где, не то, что раньше. Ну а коли народу не понравится, вернутся потом с крючьями, вынут. Солнце-то уж за деревья спряталось, вечерет.

Как задумали, так и случилось. На сей раз без нечаянностей. Когда к избе вернулись, там их уже накрытые столы ждали. Каждый из своего дома хоть чего-нибудь, да принес. Сочли за неловкое объедать. Понятно, радость у людей, хотят, чтобы и другие порадовались, а все равно неловко – такое богатство Илья миру передал... Едва не ночь гуляли всей деревушкой. Никто и не заметил, что виновник торжества опосля всех к столу подсел. Только и разговоров было, что про исцеление чудесное, да про кузню, да про то, как заживут теперь... А как мед хмельной в голову ударил, – и про папоротник цветущий припомнили, и про разрыв-траву, и про плакун. Нашлись горячие головы, хоть сейчас в лес, на берег или на болото бежать, травы искать, клады доставать. Предания вспомнили, кто когда слышал; по всему выходило – деревенька их в таком месте стоит, что стоит где копнуть – тут тебе и сокровище зарыто... Ближе к рассвету уgomонились.

Про жеребенка Илья сам Ефросинье поведал. Что уж он там рассказал, не знамо, но она вроде как не особо удивилась. Еще одна лошадь в хозяйстве, за недорого? Добро. Не бабье это дело. Ее дело – присмотреть, обиходить, корму задать, коли мужчинам некогда. Пшеница отборная... Нет никакой пшеницы, окромя овса да ржи. А купить – по миру пойдешь. Ничего, овес да рожь и не таких стригунков на ноги ставили.

Снова жизнь пошла – тишь да гладь. Илья с отцом в поле, только не дается ему крестьянский труд. Пахать – не портами махать. Соха – ее чувствовать надобно. Как в земле идет, где поднадавить, где послабить. Не умеючи, то ремень порвешь, то лошадь запаришь. Не может

Илья никак с силушкой своей совладать. Играет она в нем, наружу просится; то борозда вбок уйдет, то Серко встанет – пар от него идет, ровно из проруби на морозе. Ну да ничего, научится.

Пару недель всего-то и прошло, как беда приключилась. Собралось несколько сельчан в город, на ярмарку. Как получилось, никто и не понял, что все золото-серебро найденное, с собою взяли, на продажу. Опять же, насчет кузни поговорить. Видно, желание глаза застило. Припрятали в ворохе тряпья, подались. И наехали на людей лихих. Думать забыли, когда в краях этих тати водились. Только сказки да предания про них и остались. К тому же, в сказках да преданиях разбойнички все больше за народ стояли, защищали от обид, потому как сами из народа. Эти же все забрали, в одних портах домой пустили, мало, что жизни не лишили. Сколько их было? – Видимо-невидимо. Велики глаза у страха. Может, и было всего ничего, а страх глаза пошире разъял... Что ж теперь делать-то? В город управу искать? Да как же в город – ушли куда люди лихие, али стерегут, дорогу-то?.. И то сказать – а ну как поймают их да выпросят, откуда серебро-золото взялось? Не случилось бы, как в присказке: пошел порты из беды вырывать, так и головы лишился...

Притихла деревушка. Не бегают в лес ребятишки, девки с парнями все больше на бережку, в виду. По избам топоры-косы-вилы вострее вострого держат. Иного оружия нету – была одна сабля, от диких во времена незапамятные осталась, и ту куда-то подевали.

День к вечеру опускался, как раз Илья с Иваном пристройку закончили. Дверь навесили. Никто из деревенских не заметил; не до того было. Осмотрели со всех сторон, довольны остались. Присели на лавку. Видит Иван, неладное что-то с Ильей творится. Непокойный он. Спросил напрямки.

Тут Илья ему прямо и ответил, не стал запираяться. Негоже ему в избе отсиживаться. Отпусти, батюшка, золото-серебро людям вернуть, с разбойничками силушкой переведаться, за обиду посчитаться. Начал было его Иван отговаривать: что тебе золото – ветром нанесло, ветром унесло, – не слушает. Слово поперек не говорит, а в голове супротивное держит. Задумался Иван. Понятно, не об золоте сын думает, о людях обиженных. Может, и впрямь так судьбой заповедано? Уж больно к одному все складывается. Столько всего случилось, чего прежде никогда не бывало. Не то что дедами не сказывалось, – прадедами. Не пойдет Илья против слова родительского, только к добру ли против воли удержать? Самого, небось, не особо неволили...

– Добро, Илья, иди, – сказал Иван, и сам себе подивился. Совсем другое молвить хотел: пойдём в избу, поужинаем, пораскинем умом, что да как. Будто подменил кто-то слова. Знать, судьба...

– Прости, батюшка, коли что не так, – поднялся Илья. – Я скоренько обернуться постараюсь.

– Так ты что же, вот прям сейчас?.. На ночь глядя?..

– Чего ж тянуть-то?.. Может, они уже за тридевять земель подались, тогда трудненько придется... Да и есть у меня одна задумка...

– Вот оно значит как, – протянул Иван. И подумал вдруг: ему б лет хоть с десятков с плеч скинуть, сам бы пошел. – Добро, – повторил. – Ступай. А с матерью я сам... Смотри только, чтоб обратно побыстрее... И помни еще: кровь людская – не водица, не проливай понапрасну-то...

– Батюшка...

Хотел Илья в ноги отцу броситься, да тот не дал – обнял, прижал к себе крепко, отнял от груди, в глаза глянул.

– Ступай...

Повернулся Илья, зашагал решительно к воротам, пальцы в кулаки сжимает-разжимает. Не успел десятка шагов сделать – зря делом рук своих любовались: разметал жеребеночек стойло, дверь с петель – ровно не из дерева, ровно из улья осиною сделаны, в два прыжка

рядом с Ильей оказался, глазом косит. Куда ж ты, хозяин, без меня собрался? спрашивает. Тут уж и дурню ясно станет, а Иван с Ильей не дурни стать. Переглянулись промеж себя, да и расхохотались. Махнул рукой Иван, в избу пошел. А Илья за ворота, да к лесу...

Идет по дорожке лесной, поторапливается. Жеребеночек рядышком держится. Вот уж наделы позади остались, а до того места, где страннички людей обидели, еще версты две, не меньше. Засветло б туда попасть, да осмотреться хорошенько. Они ведь лошадей с собой забрали, и телеги, не может такого быть, чтоб следов никаких не осталось. К тому же, знали, что погоня если и будет, то не скорая, могли особо не таятся. Сумеречно в лесу становится, приумолкли звуки дневные. Прислушивается Илья – в такой тишине любой звук издалека слышать. А тут на тебе – баба навстречу, с лукошком. Травы какие-то собирать ходила, не иначе как знахарка. Незнакомая, не из ихней деревни. Идет, не торопится, слово, должно быть, заветное знает.

– Далеко ли торопишься, добрый молодец?

Глядит Илья, не поймет толком. По виду – баба, а голос звонкий, как у девки. Станом крепка, лицом приятна, походка плавная, а глаза – зеленые-презеленые. С такой днем встретишься, опаска возьмет, не то что в сумерках посередине леса...

– Что молчишь, язык проглотил? – поддразнивает. – Али девки прохожей испугался?

– Ничего я не испугался, – буркнул Илья.

– На базар, что ли, собрался? Жеребенка ведешь...

– Увязался...

– Ну, не хочешь говорить, не говори. Мне с тобой тоже разговаривать недосуг.

И пошла было себе дальше, да остановил ее Илья.

– Ты это, погоду маленько. Ты здесь ничего не слышала?

– Птицы поют, звери бегают, деревья листвою шелестят. Лягушки, вон, квакают.

– Не про то я...

– А про что?..

И как только случилось, что Илья ей рассказал? Не собирался ведь, хотел попрощаться и идти себе, рот открыл – и слово за слово, ровно из дырявого мешка. Спокойно выслушала, голову набок чуть склонила, в глаза смотрит и слушает.

– Вон оно значит как, – протянула, как пропела, когда Илья замолчал, коря себя на чем свет стоит. – Смерклось уже, ничего не разглядишь. Идем со мной, помогу тебе.

– Да ты что! – шарахнулся Илья в сторону.

– Идем, идем. Я здесь недалеко живу. Не бойся, не обижу.

Не умеет Илья с девками да бабами себя держать. Ефросинья для него уж и невесту подыскала, а он, как с печи встал, не то что заговорил – и не посмотрел толком ни на одну. Если б не жеребенок, в жизнь не пошел бы. А то ли баба, то ли девка – потрепала стригунка по холке, тот прижался к ней, словно к родной, глянул на Илью большим глазом. Ну, коли так... Того не вспомнил, как покупал.

Свернула с дороги – и в лес. По тропинке. Не было ее, когда мимо шел, иначе заметил бы. Голову под топор, конечно, не положу, а не было. И прытко так идет, легко, ровно летит. Жеребенок впереди, Илья чуть приотстал.

– Так ты что же, одна живешь здесь?

– А ты чего спрашиваешь: просто так, али интерес какой есть?

Тьфу ты, лучше уж молчать.

Озирается Илья. Он сюда прежде не забегал. Ну, может один раз и было. Оврага вот этого, к которому вышли, не помнит. Ни родника, ни избушки по другую сторону. Вниз спустились, она в сторону свернула, не стала подниматься. По дну оврага пошла, не так, чтобы далеко. Остановилась, Илью подождала. Сунула руку в лукошко, достала траву какую-то невзрачную, протянула.

– Разжуй хорошенько, и проглоти.

Как бы не так! Не на того напала... Кабы не взгляд этих глаз, зеленых-презеленых...

Взял Илья траву, сделал, как велено было.

– Смотри теперь.

Смотрит Илья, будто маревом каким склон оврага подернулся. Разошлась в стороны зелень свежая, открылась дверь, железом окованная, семью замками пудовыми завешенная.

– Не всякому дано замки снять, не всякому дверь откроется. Гляди.

Опять сунула руку в лукошко, опять траву достала. Приложила к замку. Ахнул замок, разлетелся в кусочки мелкие. А чему удивляться-то? Перед разрыв-травой ни один не устоит. Только смотрит Илья – не было замка, а теперь на прежнем месте висит.

– Не про меня дверь эта. Ну, чего столбом стоишь?

Делать-то чего? Ключей нету, а голыми руками, ежели заговоренные, вовек не возьмешь. Приподнял Илья замок одной рукой, другой за дужку взялся. Щелк! Тот и открылся. Вот чудеса! Так все и снял, дверь распахнул.

Думал, обдаст сейчас затхлостью, – ничуть не бывало. Факелы на стенах вспыхнули. Видит Илья: стоит конь оседланный, будто спит, висит кольчуга, словно вчера сплетена, шелом, щит темно-алый, меч в ножах, кинжал, булава, лук, колчан со стрелами. Глядит – глазам своим не верит. Скосил взгляд в сторону.

– Чего уставился? Обещала ведь: помогу.

– Зачем мне это? Я ж ничего такого никогда в руках не держал.

– Никогда не держал, а теперь придется. Идем в избу. Накормлю тебя, напою, спать уложу. Поведаю кое-что, научу, как быть. С рассветом сюда вернешься.

Кто ж такая? Одна живет, не боится, травы ведает. Ну, коль травы ведает, должно быть, и еще кое-что... Спросить про хозяина? Он ведь, случаем, помочь обещался...

– А жеребенок твой пока у меня останется, – говорила промеж тем жительница лесная. – Придет время, верну. Сараюшка у меня есть, сено в ней держу, там переночуешь...

Ага, сено. Скажи еще, сама накосила, сама высушила...

Избушка показалась Илье очень похожей на их собственную, разве что без забора. И снаружи, и внутри. Будто один мастер ставил. И сараюшки похожие, и огород. Может, в сумерках так показалось, может, в самом деле так, а может – глаза отводит. Ладно, одну ночь как-нибудь потерпит.

Ужин – такой же, как и дома. Пироги свежие (а печь-то не топлена!), молоко (а коровы вроде как нету!), квас из ревеня. Пока насыщался, хозяйка напротив сидела, ждала. Как закончил да поблагодарил, на крылечко вывела. Повела кое-что. А потом рукой махнула – ступай вон в сараюшку, на сеновал. Зашла в избу, дверь закрыла. Постоял Илья немного, сам не зная зачем – толкнулся в дверь. Не поддается, но чтоб засов двигала – не слышал. Кто ж такая? Спросить, что ли, поутру?

Вот только спрашивать поутру было некого. Проснулся Илья посреди поляны; конь неподалеку, оседланный, фыркает, головой потряхивает. Оружие на траве, шелом, кольчуга. Ни тебе оврага, ни избушки. Просвет меж деревьями – тропинка давешняя...

И сон какой-то странный всю ночь одолевал, не то сон, не то явь...

Собираться стал – правду сказала – все как по нем сделано. Поташил меч из ножен, взмахнул, – словно всю жизнь в рати хаживал. Взял коня под уздцы, вздохнул, еще раз осмотрелся.

Нет, не разглядеть ему посреди листвы молодой глаз, зеленых-презеленых, не услышать слов, произнесенных с тоской неизбывною:

– А ведь мог бы моим быть...

3. Вы леса мои, лесочки, леса темные...

Лес лесу рознь. Вот, к примеру сказать, дубрава. Спокойная, величавая. В солнечный день да в лунную ночь светом пронизанная. Деревам здесь вольготно; от ствола до ствола несколько сажений, редко когда ветвями переплетаются. Дуб – он и в смешанном лесу главный. Не веришь? Сам погляди. Сколько лет растет, никому не ведомо. А каких размеров бывают – рассказать кому, не поверят. Опять же, дрова дубовые, они самые жаркие. Опять же, веник в бане – и силу дает, и хворост любую прочь гонит. Под стать дубраве хозяин. Этот по-пустому аукать да заманивать не станет. Не по его норову. Помогать, правда, тоже не станет. Сам заплутал – сам и выбирайся. Озоровать – даже не думай. Дубки молодые – не трожь. Такой страсти напустит – лапти потеряешь, удираючи. Еще – мавок любит да привлекает. Его право, хозяин. А ты не ходи в дубраву, как навьи дни настанут, обожди, нечего тебе здесь в эту пору делать.

Или, вот, березняк. Тоже ведь, и хворост гонит веником, и жар печи. А еще грибы на березе растут, – черные такие, потрескавшиеся, ни за что не скажешь, – гриб. От ста болезней помогает, силу возвращает. На бересте, говорят, буквы какие-то пишут. А Егорка Горыныч сорвет, бывало, с коры полоску белую, нежную, между больших пальцев сожмет, ко рту поднесет да как засвищет соловьем!.. Он и других птиц передразнивал, только соловей у него лучше прочих получался. Так вот береза эта самая. Неподалеку от деревушки, если вниз по течению реки идти, вдавалась в лес лужайка. Трава там была хорошая, да уж больно добираться плохо; а дорогу торить – не стоило того. Мест для покоса и без нее хватало. Год, а то и два туда никто не наведывался – не зачем было. А потом глянули – а там березки молодые всю лужайку затянули, не то что пройти, руки не просунуть. Маленькие, по колено, иные чуть выше. Прозевал хозяин, али нашкодил. Потому как ежели с умом, прореживать, не хуже дубравы роща березовая, только травы поболее, да повыше трава эта. Поговаривают, хозяин березняка на девку смахивает, или на Лелю.

Сосновый бор – особая статья. Здесь запах особый, ни с чем не сравнимый. И дышится легче, чем где-либо на реке, али там в поле. Потому и срубы избянные из сосны ставят, они и стоят долго, и болеют в них реже. Горыныч смеялся, мол, на хвост коровий похожа: все гладко да гладко, а на конце кисточка. Или на гриб-курятник. Есть такой: куриное яйцо на ножке. И по вкусу на мясо курицы похож. Все залезть подначивал. Ну да дурней мало находилось: как ты на нее заберешься, коли ухватиться не за что? А если и залезешь, как потом слезать? Он единственный, кто умел. Говорили, что он себе когти железные сделал, как у белки, только не раскрыл секрета, как ни упрашивали. Хозяин в бору – на гриб-боровик похож. Такой же крепенький и ладенький.

К чему это? А к тому, что тот лес, в котором Илья оказался, на свету совсем по-иному глянулся, нежели в сумерках. Пока на дорогу вышел, кое-чего углядел. Не тот он, что возле их деревеньки, совсем не тот. Хоть и смешаны породы древесные, да возле деревеньки лес светлый, приветливый, ухоженный, а коли встречаются темные места с буераками, так их совсем немного. Оно и понятно, бури частенько старые деревья с корнями выворачивают; пойдя, уследи за всем в одиночку. Сегодня здесь разобрал, завтра в другом месте повалилось. Там разобрал – поспешай в третье. За зверьем постоянный пригляд нужен. Здесь же лес... Мало того что дурмучий, темный он, дикий, неухоженный. Пустынный какой-то, хоть и доносятся то справа, то слева, в его глубине, крики птиц. А может, и не птиц вовсе... Коли б не тропинка, уже и в болото бы влез. Коварное болото. С виду из себя как лужок приветливый, а присмотришься – у лужка этого и дна-то, должно быть, нету. К самой тропинке подобралось; кочками мохнатыми, елками чахлыми, покосившимися. Дурманом цветов околдовать норовит. Тут и пиявок, и комаров, как время настанет, видимо-невидимо быть должно. Молва народная рассказывает, что разбойники, ежели кто выкуп за себя давать не хотел, в чем мать родила, возле таких болот

к деревьям привязывали. Для сговорчивости. Сам выбирай, что тебе дороже: жизнь, али золото-серебро. Последнее – оно дело наживное, первое же – один раз дается. Только уж решай поскорее, ночь – она не очень длинная, а времени у тебя – всего одна ночь и имеется...

Или вот с другой стороны дороги – Илья к тому времени уже на дорогу вышел – по левой ее стороне, земля как будто огромными ямами изрыта. И сосны им под стать – небо кронами подпирают. Травы не видать, сплошь ковер из хвои и шишек. Там же, где корень наружу выпростался, местами песок проглядывается. Опять гиблое место. Кто-то из стариков рассказывал, попал он однажды в сумерках меж таких сосен. Заплутал, потому как глазу зацепиться не за что. Одинаковое все. Спустился – поднялся, и не понятно, то ли был здесь, то ли нет... В яму он угодил. Песок сыпучий под хвоей оказался. Сразу по пояс ушел, а стоило пошевелиться – еще глубже проваливался. Как выбрался – не помнит, иначе и ворон костей бы не нашел.

Деревьев много, пополам поломанных. Вроде здоровое дерево, не с чего ему ломиться, а ровно великан какой позабавился. Переломил, будто соломинку, и дальше себе пошел. Так и осталось дерево, не живое, не мертвое; торчит пнем обезображенным, а верхушкой ветвистой, среди которой зеленые веточки виднеются, в землю уткнулось. Упавших, истлевающих, с корнями в рост человеческий, тоже много.

Дикий лес, гиблый. В такой без особой нужды не сунешься ни за дровами, ни за грибами-ягодами. Обидеть может, а то и пропадешь ни за денежку мелкую. В таком только татам да душегубам и место.

Думал было Илья к хозяину обратиться за помощью, тому самому, что медведем его пугал. Да видно, другой здесь хозяин. Такой же как лес – сумрачный, дикий, неприветливый.

...Полянку ту, возле которой односельчан обидели, он бы вовек не нашел, кабы не случай. Лужу на дороге перепрыгнуть решил – так просто, по-детски. А того не заметил, что сук низко распростерся – зацепился шеломом, тот и слетел. Пока рукавом от грязи отирал, по сторонам смотрел, оттого и не прошел мимо. Не даром говорят: у страха глаза велики. Полянка та размером куда меньше сказанной оказалась. И пень меньше, и куст лещины, и сама лужа; об луже-то он и позабыл, след тележный высматривая. А чего высматривать? И так не особо заметный, а тут еще сколько дней прошло. Опять же: тати эти телеги забрали, с лошадьями. Куда тут, по такому лесу, на телеге? Но до лужи след хоть как-то местами просматривался, а далее – нигде не дороге не видать. Здесь вроде и впрямь к полянке свернули.

Пошел Илья – как, думал, разбойники подались. Вышел на прогалину, дай, думает, кругом ее обойду: не может такого быть, чтобы следа никакого не осталось. Ветка сломанная, куст примятый, еще что приметное. Однако ж, неладное что-то дееется. Только шаг сделает, – и будто земля ему в лицо бросается; ступит назад – все по-прежнему. В другую сторону – опять из-под ног уходит... И, главное, пока на месте стоит, ничего особенного: деревья как деревья, кусты как кусты... А морок одолевать начнет – девки на поляне показываются; прыгают, веселятся, друг за дружкой гоняются, в его сторону посматривают. Косы длинные, сарафаны белые, на головах – венки из цветов свежих. В лесу цветов нет, а у них – есть. Мавки, не иначе.

Присел Илья на ствол поваленный, задумался. По-иному дело глянулось. Сколько их было, разбойников-то? На слова сельчан не положишься, напугались шибко. Кто они, из каких краев пришли? Отчего промысел лихой выбрали? Одно – коли селяне бывшие, а ну как из людей ратных? Мечом-копьем владеть умеющим? Сам-то он если только булавой; тут, должно быть, особого умения не надобно – маши себе, ровно дубиной. Только против умелых да опытных не помашешь. Стал припоминать, что ему деды про разбойников рассказывали. Сказка – ложь, а все-таки не на пустом месте складывается. Припомнил, что атаманы зачастую слова заветные знали; что стрелы от них отскакивали, меч не сёк. Еще: оборачиваться умели, невидимками становиться, со следа сбивать... Со следа сбивать!.. Илья аж привстал. Вот оно что! Не иначе, правдой сказка оказалась. Значит, здесь они где-то, недалече, а иначе с чего бы морок наводить?..

Как со вечеру – сильный дождичек,
Со полуночи-ночи – подморозило...
Ты взойди-ка, ты взойди, солнце красное,
Над горою взойди, да над высокою,
Над дубравою взойди, да над зеленою,
Обогрей же нас сирот, сиротинушек...

– Слышь, Невер, мне вот что подумалось: а с чего это песни у нас все какие-то протяжные да невеселые? – спросил молодой разбойник, весен семнадцати-двадцати, пожилого, коренастого, густо обросшего черной бородой. Они сидели у костра и приглядывали, как бы огнем не охватило почти совсем уже готового кабанчика.

– Жизнь наша такая, – буркнул тот. – Какова жизнь, таковы и песни. Другой была бы, по-иному и пелось бы.

– Не скажи, – возразил молодой. – Разве мы не вольные птицы, разве платим кому подати? Разве грабят нас тиуны да лучшие мужи? Что с того – избы нет. Вот уж разбогатеет, получу свою долю, тогда...

– Тогда – что? – спросил пожилой.

– А вот то. Купцом стану. Торговать буду. Гостей не больно-то пограбишь. Слышал я, у них и дружина своя имеется, и послабление от князя.

– Дружина, говоришь? – раздумчиво протянул пожилой. Собирался что-то сказать, но не стал.

Посидели, помолчали. Повернули толстый сук, служивший вертелом.

– Только вот не понимаю, зачем атаман у сельчан телеги с лошадьми забрал? Золото-серебро, оно понятно; хотя откуда у них такому богатству быть? – снова начал разговор молодой.

– Должок у него тут в городе имеется. Давний. Расплатиться желает.

– Что за должок?

– Что за должок? Обыкновенный... Сам-то он из Новагорода. Слышал про такой?

– Кажись, слышал...

– Кажись... Город такой есть, поболее вашего. Далеко на севере. Туда, говорят, первый князь пришел, из Руси, а уж оттуда – в Киев. Сами-то они сейчас без князей живут...

– Это как?

– А так, по-старому. Как в вашем городе прежде жили. Скопом дела решают, вот как у вас было. Вече называется. Посадников избирают. Жил он там в Славенском конце, третья изба от городской стены вдоль Плотницкого ручья. А еще мост у них есть, Великим прозывается. Правду сказать, не один он там, и все – Великими кличут. На том мосту потехи у них случаются, кулачные. Конец на конец. То ли три у них конца, в городе-то, то ли еще сколько... Это самое вече, – у каждого свое. Только я не о том. Как-то по зиме потеха кулачная у них случилась. Отец атаманов не любитель был, а тут нашло на него что-то, ровно околдовали. То ли на мосту случилось, то ли на самой реке, а только когда народишко расходиться стал, он среди прочих лежащих остался. Принесли его домой, думали, отлежится, встанет. Силушкой-то не обижен был: быка ударом кулака в лоб с ног сшибал. Отлежался, да так и не встал. Кровью все кашлял. Свезли по весне... Только до того еще, как помер, припоминать стали, что да как. Редко такое бывало, чтоб до смерти. Помнут сильно, покалечат – случалось. А тут... И припомнили, что на стороне Людина конца вроде как молодой затесался, и вроде как нездешний. Во время потехи, – до того ли было, чтоб высматривать? Там уж не зевай... И вот этот самый молодой, он вроде в рукавицах был, расписных. С атамановым отцом лицом к лицу бился. После потехи же исчез, а куда – никто не видел. Вот и порешили, что он в рукавицы, должно быть, подковы положил.

А иначе – как такого бойца одолеть можно? Спихватились; за такую проделку смертным боем быют. Тут-то и вспомнил кто-то: уж больно молодой тот...

Невер примолк и принялся поворачивать сук с кабанчиком.

– Ну, так чего молодой-то? – не стерпел товарищ.

– Не запрят... Отец атаманов – он повольником был. Гости новгородские, чтобы убытку в торговле с купцами готскими, людей нанимали, чтобы они, по соседним землям да рекам, озоровали. Чтобы никто, значит, помимо них не встречал...

– Это что же – разбойничали?

– Как хочешь назови. Вот они, повольники эти самые, и озоровали. Там ладьи пожгут, там товары отнимут. Иногда, бывало, стычки случались...

– Со смертоубийством?

– По-разному... Так вот, кто-то и припомнил, что молодой этот, он вроде как... В общем, отца его, – атаманов отец положил... Вот и дождался своего часа, вернул должок...

– Так вот ты про какой должок... – протянул молодой разбойник.

– А ты думал?.. Мать у него вслед за отцом ушла, той же весной. А ему, как старшему, такое вот наследство досталось. Око за око.

– Так, может, молодой тот не причем был?

– Может, и так. Только ему лучше знать, атаману-то. Он его поначалу долго разыскивал. Сам в повольники подался, везде, где мог, расспрашивал. Потом вроде как поутих – где ж его найдешь? Пока не приметил как-то в дружине княжеской, в Киеве.

– Да как же он его приметить мог, ежели прежде в глаза не видел?

– Слухом земля полнится. Разговор случайно слышал. Тот, кого он искал, не из последних в дружине был. Князь его отличить решил – послать в один из городов, для догляда. Не всем это по душе пришлось, кое-кто позавидовал. И вот идет атаман, – только он в то время еще не был нашим вожаком, – по улице, навстречу ему – всадник, дружинник. Глянул на него – и как будто в груди что-то шевельнулось. Одного взгляда хватило, чтобы навек запомнить. Подивился, – никогда прежде с ним такого не было. Идет себе дальше, а тут еще два дружинника стоят, смотрят всаднику вслед и о чем-то беседуют. Прислушался невольно и услышал, что тот в дружину из Новгорода пришел. Вроде как родных у него там повольники извели. Понял атаман, отчего у него у груди екнуло. Повернулся – и вослед. Только дружинник как в воду канул. Он обратно – у тех двоих про город узнать, ну, куда того доглядать послали – и тех след простыл. Городов-то немного, да один от другого не за версту стать. Долго искал, пока у вас нашел...

– Телеги-то зачем у людей забрал?..

– Так ежели просто ватагой в город заявиться, приметить могут. А тут одежду сменить – и вроде как на торг. Мало ли кто на торг собрался...

Опять помолчали.

– И давно вы вот так, вместе? – спросил спустя время молодой.

– Давно... Уж и не упомнить, сколько. Мы тогда еще булгар проводить собрались. Город есть такой, там, – Невер махнул рукой, но так, что было понятно, не направление указывает, а вроде как утверждает: «там стоит», – где Кам-река в Волгу впадает, только ниже. Богатый, красивый, гостей множество. Вот и решили: коли множество, так может и на нашу долю чего перепадет. Он к нам по дороге и прибил. Сам напросился. Я, говорит, камнем на ногах не повисну, ежели что, то и подмогнуть смогу. Правду сказал: и камнем не висел, и помогал при случае. Только атаману нашему прежнему почему-то не глянулся. Бывает ведь так: ничего плохого про человека сказать не можешь, а не лежит к нему душа, хоть головою об дверь. Так вот... Долго ли, коротко, как в сказках сказывается, а пришли мы к этому самому Булгару. Ты в Киеве бывал?

– Не пришлось...

– А этот – он, пожалуй, побогаче Киева. Мы, пока пробирались, разузнавали, где что можно. Диковин там, говорят, видимо-невидимо. Дома каменные, и улицы камнем выложены. А по улицам этим птицы гуляют – размером с нашу курицу, а цветом сама – ровно жаба. Хвост же у ней – в две сажени. Как подымет его, как распустит – словно небо после дождя под солнышком – блестит-переливается. И еще лошади у них не как у нас, а горбатые. Я так понимаю – вот ежели взять простую лошадь, да дать ей бревном по хребтине, – вот такие...

Молодой поморщился.

– Ты, Невер, ври, да знай меру. Такое сказанул – за день не обойдешь. То у него лошадь какая-то, бревном побитая, то птица, на жабу похожая. Может, еще и квакает?..

– Люди говаривали – кричит, как наша ворона...

Молодой отвернулся.

– Тьфу!..

Невер не обиделся и продолжал.

– А река там, возле города, – это мы как пришли, увидели, – куда ни глянь, вся в ладьях, так что стен не видно. Стен же и в самом деле нету, – с той стороны, что на реку. А с других – как же без них? Высокие, с башнями, рвом окружены. Еще с реки будто старица отходит, прямо в город. Там тоже лодок полно. Мы поначалу удивились: как же так, что с берега стен нету? Это ж любому врагу в радость. Ан нет, присмотрелись, – видать, правда, не очень, широка больно, река-то, – вал там, укрепленный. Ну и, само собой, войска внутри должно быть, видимо-невидимо. Голыми руками не ухватишь. И еще – внутри города башни высокие торчат, что твои жерди. Белые такие, каменные, наверно. Должно быть, сторожевые, потому как на них вроде дозорные перекрикивались. Тут, вблизи города, понятно, ничего не ухватишь. Потому и решили к слиянию рек вернуться. Там пооглядеться, местечко приискать, засаду устроить. По всему видать, любую лодку хватай – в накладе не останешься. Вернулись, отыскивали местечко. Там, вишь, лодки к одному берегу прижимаются, как против течения идут, к пологому. Где вода потише. Оно, конечно, нездорово, потому как глубина поменьше, днище покарябать, а то и вообще пробить, можно. Только нам как раз на руку. Не упомяну уж, сколько дней случай подходящий ждали, чтоб не оплошать, а вышло куда как худо. Углядели ладью по себе – народу на ней мало, справимся, ежели сопротивляться надумают. На испуг рассчитывали. Вот приблизилась она, людишки спокойно себя ведут; кто чем занимается. Поравнялась с тем местом, где мы ее поджидали. Тут наш атаман слово заветное молвил – встала ладья, ровно вкопанная. Ветер попутный, хоть и слабый, парус колесом, – а она стоит. Закричали мы дружно, – да что там закричали, заревели, – бревна по три вместе связанные в воду спихнули, шестами толкаемся, топорами, кистенями размахиваем – глянуть со стороны, так самого храброго храбреца оторопь возьмет. А этих, на ладье, не взяла. Не робкого десятка оказались. Откуда только что появилось: одна стрела свистнула, другая... На таком расстоянии да не попасть – это сильно постараться надо. Вот и вышло: назад – негоже, всех постреляют, и вперед – на верную смерть. Замешкались, глянул я – а нас уже и половины не осталось. Не до богатства стало. Бросил я шест, и сам в реку бросился. Поглубже стараюсь, чтобы сверху не приметили, да стрелой не достали. Хорошо, течение помогло, берег пологий, и то, что отплыли недалеко. А так бы ко дну пошел – намокло все на мне, тяжело очень стало, и воздуху не хватает. В общем, выбрался как-то посередь кустарника, и в лес, затеряться поскорее. Обернулся, как меж деревьев петлял, а ладья уж и дальше себе подалась. Знать, кончилось житье атаманово, коли слово его силу потеряло.

Невер помолчал. Молодой разбойник тоже сидел молча.

– Не стал я далее бежать-то. Подождал, как ладья скроется – и к берегу. Немного нас уцелело. Кто под стрелу попал, а кого водой на стремнину унесло. Кого смогли, выловили – чтоб, значит, по-людски попрощаться... Ну и остались поблизости, переночевать. Кто смог, те уснули, а мне не спалось. Какой тут сон? Лежу, ворочаюсь с боку на бок, в небо смотрю. Вдруг,

слышу, вроде как плеск. Не иначе как, думаю, по следам нашим кто идет? Вижу – черное что-то движется от реки. Врать не буду – хотел было ноги в руки, да не то, ни другое не слушается. Лежу, ровно колода. А черное это все ближе и ближе подходит, и вроде как человек. Совсем придвинулся, наклонился, вода с него льется, и шепчет, глухо так, но понять можно: «Возьми». Совсем мне дурно стало – голос-то вроде как атаманов. А он постоял так, склонившись, и снова шепчет: «Возьми». Только то и спасло меня, что со страху онемел. Дальше он пошел. Ходит так, от одного к другому, пока возле нонешнего нашего атамана не оказался. А тот, должно быть, спал, и не понял спросонья. Потому как слышу, рыкнул он, грозно так: «Ну, давай, чего у тебя там?» Не успел сказать, пропало видение черное, ровно и не было...

Невер поежился, как от холодного ветра, повернул вертел с кабанчиком.

– А чего он, атаман-то ваш, ходил?.. Ты ж вроде как сказал, того он, ежели ладья с места сдвинулась?.. – не утерпел молодой.

– Вот то-то и оно, что того. Вишь ли, ежели кто слово знает, не может он просто так... ну, пока завета этого кому не передаст. Будет бродить вокруг да около того места, где настигло его... Спрашивать тех, кто мимо идет, возьмет, али нет.

– А ежели не возьмет никто?

– Так и будет бродить до веку. Повезло ему, атаману-то нашему прежнему, сразу нашел того, который взял. Не по доброй воле, случаем, а слово нужное было сказано.

Помолчали.

– Завет этот, он об чем, знаешь?

– Того никто не знает, пока сам на себя не примет. Только как примет, не больно-то рассказывает. Говорят в народе, перекидываться может, оружие его не берет, со следа сбивать...

– Как же оружие не берет, коли ты сам только что...

– Нет такой силы, чтоб силою не обороты, и такой хитрости, чтоб хитростью не провести. Вот, к примеру, одолень-трава. Слыхал про такую? Коли соком ее стрелу покропить, ни во что стреле такой заветы всякие разные. Или наконечник серебряный, или заговоры какие... Ладно, хватит ляссы точить. Созывай народ, вечерять будем...

* * *

– Одолень-трава...

Так и не смог Илья с полянкой сладить. Ни вдоль пройти, ни поперек, ни в обход. Как ни старался, а силой слова не переломишь. Измаялся только, по кустам да буеракам лазаючи. Вечеру вернулся туда, откуда начал. Прилег возле полянки, так, чтоб видно ее было, правую руку в петлю булав просунул, на случай гостей незваных, левую – под голову. Лежит, смотрит в небо, размышляет. Что ж делать-то? Назад воротиться – негоже, зеленоглазую поискать – тоже вроде как неказисто: мужик, а без бабы ни шагу. Оно, конечно, еще вопрос, что это за баба, а все одно неказисто. Ну, утро вечера мудренее. Светать начнет, снова попробую. Не получится – там уж и решу, как дальше быть. А пока – выспаться надо. Ан не тут-то было, не засыпается, и все тут. Только это ему кажется, что не засыпается. На самом же деле, сморил сон добра молодца. Не удивительно, – кого хочешь одолеет, будь ты хоть сильнее сильного, хоть слабее слабого, знаешь ли слово заветное, не знаешь, ему все едино. Проведет лапой пушистой по лицу, пошепчет что-то в ухо, – и все дела.

Спит Илья, и не чувствует, что спит. Кажется ему, будто наяву все происходит. Видит он, вышел кто-то из леса на полянку, к нему направляется. И еще – ночь кругом, а светло, ровно днем. Девка какая-то. В простеньком сарафанчике, чуть узором тронутым, коса русая до пояса алого, ноженьки босые, личиком славная, – идет, косу ручками тербит. Вроде как напевает что-то.

Ишь ты, не на того напала. Вскинулся Илья, будто врага заприметил. А оно, может, так и есть: что это за девка, коли по ночному лесу шастает? Не девка это вовсе, а... Добро, поглядим, что за птица.

Не испугалась. Подошла поближе, головку к плечу склонила, улыбнулась. Ласково улыбнулась, одно плохо – глаза уж больно невеселые, нет в них той улыбки, что на устах.

– Одолень-травка?.. – произнесла. – Знать, никак не совладать без нее с силой слова заветного?.. Что ж, коли надобно, ступай за мной, покажу тебе место, где траву ту добыть можно. Отчего бы и нет? Только знай, многие пытались...

– А ты, собственно, кто такая будешь? С чего это помочь решила? Аль в трясиноу манишь?

– Ну что ты, Илья, разве похожа я на трясинницу? Заряной родители звали, так и ты зови. Что помочь решила – не проста. Нужда у меня в тебе есть, коли я тебе помогу, так, может, и ты мне поможешь.

– Чем же это я могу тебе помочь?

– Про то сама знаю. Да ты не бойся, многого не попрошу.

– Не бойся?! – Илья расхохотался; кабы и впрямь простой девкой была – куда уж как весело: выросла былиночка перед дубом. – Ступай, Заряна, показывай дорогу к месту, где трава растет.

Идет за ней Илья, диву дается: за день все вокруг излазил-истоптал, а мест не признает. Вроде они, а вроде совсем не они. Вот этого ручья, его точно не было. А девка как раз свернула и вдоль течения идет. Нет, не идет; ногами перебирает, а земли будто и не касается. Недалеко отошли, ручей в речушку превратился, бежит себе спокойненько; лист сухой в воду упал, покружило его, да так где-то там за спиной и остался. Еще сколько прошли, разлилась речушка, словно пруд посреди леса. Продолговатый такой, длиной раза в два поболее, нежели вширь, а вширь – сажень десять. Только в пруд этот самый разве кто без головы сунется – потемнела вода, а по поверхности растения всякие плавают, что на мелководье не сыщешь.

– Вот и привела я тебя, – девка говорит. Остановилась, отошла к березке, рукой махнула. – Добывай, коли сумеешь.

Коли сумеешь... Тут, окромя сумеешь, знать надобно, что добывать. Откуда ж Илье трава эта самая знакома будет? Он о ней только слыхивал. Листьев, вон, полно плавают, какой хватать? Который поближе? Уж больно в середину лезть не хочется. С одного взгляда видно – не простой прудик. Глянул на девку, а та стоит себе, косу в пальцах крутит. Разве палку какую найти, да зацепить... Тут вроде как движение какое в воде обозначилось. Поднимается что-то, из глубины – к поверхности. Медленно так поднимается, темное что-то и небольшое, с кулак размером. Заволновалась гладь водная, всплыли комья зеленые, замерли на чуток, да и развалились в стороны лепестками желтыми. Сколько ж их тут? Глядит Илья – цветы-то, их и на реке, что возле деревни, полным-полно. Это что же, и есть та самая одолень-травка? Снова глаза на девку скосил. Крутит, окаянная, косу, и все тут. Хоть бы знак какой подала. Наверняка ведь – обманки это. А как настоящий-то среди них отличить?

Пока стоял да раздумывал, туманом вроде как от лесу на воду потянуло. Не шибко густой, так, полосами. Где погуще, где пореже. И в этом самом тумане видит Илья, ровно огоньки по поверхности забежали. То есть не то, чтобы забежали, – вспыхивают, и сразу гаснут. Там вспыхнет, там полыхнет, и все ближе к одному месту подбираются. Подобрались, закружились, будто чаша – и разом опали. А на том самом месте – цветок распустился. Почти такой, как и прочие, но белый. Ясно сразу стало, где настоящий. Только попробуй – подберись. Можно, конечно, дерево какое завалить, да по стволу и подобраться, силушки хватит. Ан нет, не дурней тебя сюда люди хаживали. Чего уж проще, прихватил с собой топор, срубил лесину и рви себе. Так ни одной зарубки не видать. Должно быть, здесь и остались: вишь как вода заволновалась. И палки какие-то над поверхностью появились, на руки похожие. Гиблое место. Нельзя туда.

Вздыхнул Илья. А тут ветерок легонький поднялся, развеялся туман, цветы закрылись и снова ко дну ушли. Ровно и не было ничего – померещилось.

– Ну что же, добрый молодец, – девка говорит, – хватило ума состорожничать, так может, хватит и договор заключить?

– Какой еще договор? – недовольно буркнул Илья.

– А такой. Знаю я, чего ты здесь ищешь, знаю и как помочь. Проведу тебя мороком, укажу дорогу к стану разбойничьему.

– А взамен что попросишь?

– Они золото-серебро твое забрали? Вот и у меня кое-что... Вернешь себе – свое, а мне – мое, на том и поладим.

– Что же это они такое у тебя забрали?

– Говорила ведь: про то сама знаю. А еще говорила: многого не попрошу. Мне б свое вернуть. Ну так как?

Приздумался Илья: нет ли тут подвоха какого. Коли б сильно обидели, попросила б головы снять; должно быть, вещь какую забрали. Слыхал Илья, что ежели у такой кто платок, скажем, заберет, за того ей и замуж идти. А кому охота замуж за разбойника?

Подумал-подумал, да и согласился. Слово дал нерушимое.

– Вот и ладно, – девка говорит. – Ты пока отдохни сколько, а поутру увидишь меня векшею. Не спутаешь. На какое дерево прыгну, к тому и ступай. Коли чего привидится – морок это, вреда не причинит. Кроме ворона. Как заметишь, ворон меня с ветки сбить захочет, стреляй в него без пощады. Ну, прощай.

Сказала, и нет ее.

Скажите на милость, а выбирать-то как? По речушке вверх – это еще помнится, только докуда? Он ведь, правду сказать, за дорогой не особо и смотрел: все дивился, как это девка ловко над землей перепархивает. Вот незадача... Побрел обратно наудачу, куда кривая выведет, да вскоре и проснулся. Лежит на прежнем месте, с булавой в руке, конь неподалеку гривой трясет... Пойди, разбери, то ли во сне привиделось, то ли и вправду ходил куда... Поднялся, огляделся. Все по-прежнему, мрак ночной развеялся, вот-вот солнце взойдет. Теперь что? Ждать, али снова попытаться полянку перейти?..

И тут слышит – ровно кто камешком по камешку стучит. Векша где-то рядом. Да вот она – на суку пристроилась, стоит столбиком, лапки сложила передние, и цокает. Ну что ж, Илья, видно, суждено сну твоему сбыться. Повел плечами, попробовал, ладно ли булава в руку ложится. Что ж, веди, векша. Чему быть, того не миновать.

А та видит, готов добрый молодец за ней следовать, проскакала по суку, на другое дерево прыгнула, приникла к стволу, ждет. Илья – к дереву, конь – за Ильей. На полянке же снова хоровод завертелся-закружился. Не такой, как давеча. Давеча он на одном месте кружился, а сейчас – вот как листья, ветром подхваченные. Бывает, вытянутся над землей, будто столб какой, и начнут этаким столбом туда-сюда метаться. Вот и здесь так, на полянке-то, только не листья кружаться, а те самые, в сарафанах простеньких...

Векша деревья, что поближе друг к дружке растут, выбирает. Сделает Илья шаг, начинает его к земле клонить, али в сторону, другой сделает, и нет морока. Каждое дерево свою силу имеет, людям неподвластную; неподвластную и слову заветному. Между ними морок с ног валит, а вблизи – рассеивается.

Так и идут, от дерева к дереву. Вскоре голоса стали слышны. То поближе, то подальше. Будто на помощь кто зовет, а шаг сделает – умоляет назад повернуть, не губить себя во цвете лет. То матушка сидящей на пеньке покажется, то батюшка, то деды. Смотрят печально, головой покачивают. Зеленоглазая показалась, к себе поманила; не пошел Илья, не поддался. Дал векше слово, что за нею последует; идет, как она указывает.

Сколько так прошли – неведомо. Ни по времени, ни по расстоянию. Только вдруг замерла векша. Застыла столбиком на суку, и вроде как прислушивается. Поводит по сторонам головкой маленькой, ушки с кисточками выставила. Тут-то Илья и приметил, чего это она замешкалась. Поначалу показалось – нарост на стволе дубовом, а присмотрелся – нет, шалишь. Ворон сидит. Не сказать, чтобы совсем уж необычный какой. Размером, может, чуть больше обычного, а так... Взгляд у него, как будто человеческий. И сам он человеком кажется, притаившимся. Заметила векша ворона, назад прынула, на Илью обернулась. Жалобно так смотрит, защиты ищет. Выпрямился ворон, – чего скрывать? – расправил крылья и – грудью на векшу. Только ведь и Илья не зевал. Какая там стрела – он ведь кроме игрушечного лука другого сроду в руках не держал. А если б даже и держал – пока стрелу выхватить, пока лук вскинуть... Не успеть. Но и не сплеховал. Махнул рукой, свистнула навстречу ворону булава. Не попал в птицу, ее будто ветром отбросило, – в ствол угодил. Загудел дуб, показалось – пошатнулся даже. Ветки посыпались. Глянул Илья вокруг себя, что бы еще под руку попало, ан ворона-то и нет, будто и не было. Подобрал булаву, дальше двинулись.

* * *

...Спят себе спокойненько люди лихие. Даже тот, кто на сторожу поставлен. Чего бы и не спать? Слово атаманово крепкое, отведет розыск, коли случится таковой. Только малой силой – кто ж в лес сунется, а большой – уже б прослышали. Пара деньков всего и осталась, а там – торг большой в городе начнется. Погулять там маленько, да в другие края подаваться.

Сколько их тут разлеглось? А сколько пальцев на обеих руках, без одного. Один – это атаман, нет его здесь. Отлучился куда-то по делу важному. Доглядеть, должно быть, что да как. Может, кто с зарей на дороге покажется, это ведь только кажется, что она далеко от становища, а на самом деле – не более двух полетов стрелы, ежели б на открытой местности. Или еще куда.

Шорох раздался. Прилетел ворон, скрылся за сосной высоченной, возле которой Невер спал. Мгновением спустя, атаман из-за дерева показался, к кострищу направился. Остановился, осмотрел хмурым взором становище, свистнул в полсвиста, ажно уши заложило. Вскинулись бродяжники, ровно и не спали, оружие похватили. Кто присел, а кто и на ноги поднялся. Что стряслось, атаман? Чего в такую рань поднял? Дело какое предстоит?

Поддел атаман ногой обрубок ствола, катнул к кострищу, присел. Знак подал, чтобы остальные ближе подбирались да устраивались, кто как. Видать, и впрямь что-то серьезное намечается; коли б иначе, атаман сам бы все порешил.

– Вот что, братцы, – начал тот. – Подумать нам надобно, как быть. Розыск на нас обнаружился. Скоро здесь будет.

Переглянулись люди гулящие; неужто слово заветное для розыска ни во что стало?

– Сам бы он никогда дороги к нам не нашел, да проводница у него сыскалась...

– Это кто ж? – спросил один из разбойников.

– Да так, местная жительница... Ей слово заветное – не преграда.

– А розыск... Много их? – нарушил молчание другой разбойник.

– Не много. Один всего.

Ушам своим не поверили. Это что же, из-за одного, пусть он хоть из богатырей богатырь, переполах такой? Друг на друга глянули. Не вчера со двора ушли, не в одной переделке побывали. Каждый, почитай, с кистенем, саблей степной или еще с чем, кому что любо, ловчее, чем иная баба с веретеном управляется. Им ли одного испугаться? Или один этот тоже словом владеет?

– Скрывать не стану, – тяжело молвил атаман. – Не разглядел, что это за розыск. Вроде как нараспашку, а непонятно. Упрямый, страху в нем нету, но не волхв. По виду – дюжий, в

доспехе воинском, конь при нем. Ухватки же воинской не видно, не дружинник, статья... Ну, чего молчите? Тут раздумывать особо нечего, неподалеку он уже.

Хорошо сказать – раздумывать нечего, так привыкли уже. Обычно как дело ладилось: соберет атаман круг, скажет, кому где стоять да что делать, и вся недолга.

– Так чего особо думать-то? – проскрипел Невер. – Порешим его, как и не было. Он один, кем бы ни был, а нас эвон сколько.

Разбойники одобрительно загудели, кроме молодого, который помалкивал, посматривая на старших.

– Порешить, ума много не надо, – наставительно заметил атаман. – А ну как его к нам в товарищи взять? Рассказать про наше житье-бытье вольное, про богатства несметные, кои удалю да умением добыть можно?..

– Не удалю да умением, татьбой да лжою богатства свои наживаете, – раздался голос. – Людей обижаете, кто супротив вас слова сказать не посмеет, чтобы с саблей вострой не переведаться. В товарищи взять желаете? Не будет у нас товарищества. А смерти моей искать станете, глядишь, зубы-то и пообломаете.

Обернулись бродяжники на голос, а Илья уже на полянку, где становище, вышел. И верно, конь при нем, и оружие, и сам в доспехе. Только оружие, если присмотреться, к седлу приторочено, в руках же и нет ничего, кроме булавы. Хоть и дюж, а кому грозить вздумал? Не детишки, чай. Погоди ужо, даст знак атаман, разочтемся.

– Ты, человеце, коли по делу пришел, так говори, зачем, – посуровел атаман. – А лаяться дома, с бабой своей, ступай, коли есть.

– Говорить мне с вами особо не о чем, – спокоен Илья, ровно на огонек к родне ввечеру заглянул. – Обидели вы селян наших, золото-серебро отняли, телеги с лошадьми, самих раздели. Коли добром вернете, подумаю еще, что с вами делать, а коли нет – так не взыщите.

– Где ж это селяне золотом-серебром разжились? – усмехнулся атаман. – Что-то во всю жизнь не попадалось мне селений таких, чтоб богатством славились. Тем паче, заморским. Не ладно говоришь, человеце. Нас в лжи укорил, а сам?.. Добром вернуть? Возьми сам, коли сможешь. Тут оно, неподалеку, закопано. Смотри только, заговор на него положен. Никому не дастся, ежели кровь невинную над ним не пролить. А тебе, человеце, вот еще что скажу: либо к нам в товарищи, либо в сырую землю. Нет у тебя отсюда иного пути.

Приздумался Илья. Не о товариществе и сырой земле. О золоте-серебре, которое заговорено, чтоб без крови невинной не взять. Как же ему теперь быть? Яснее солнышка ясного, не взять ему клада во второй раз. Так ведь и с пустыми руками назад воротиться тоже не гоже. Не то, чтоб с пустыми, телеги-то, вон они стоят, и лошади. А как же кузница, мельница? Сколько лет без них жили, столько и еще жить?..

Видит атаман, молчит Илья, ничего не отвечает. По-своему понял.

– Ты, коли насчет золота, не тушуйся. Придет пора, достану, все по-честному поделю. Ну, чего решил?

– А чего тут решать? Повяжу вас всех, да в деревню отвезу. Пускай народ волю свою объявит, что с вами делать.

– Народ, так народ, – согласился атаман. – Нехай себе там решает, а здесь мы решать будем. Вяжите его. Денек-другой без еды-воды полежит, может быть, и одумается. А нет, так омут недалече...

Буднично так сказал, спокойно. Даже вздохнул: чего, дурень несговорчивый, супротивничает? Не понимает, видать, счастья своего.

Разбойники же, тем временем, к Илье ломанулись. Впереди Невер, саблей степной размахивает. Ему первому и досталось. Махнул Илья булавой, даже и не вполсилы. Попала она в грудь разбойнику; отлетел шагов на пять, и еще других за собой увлек, наземь повалил. А еще двоих – тут уж конь богатырский удружил. На дыбы поднялся, разом копытами отшвыр-

нул. Вроде как проще стало. Поредела дружина разбойничья. Сразу трое – не живы, не мертвы полегли. Пятеро против Ильи остались: атаман с места не двинулся, да и молодой разбойник поостерегся, за спинами товарищей схоронился.

– Сказано же вам было – зубы пообломаете, – вроде как с досадой молвил Илья и булаву с руки на руку перебросил. – Ну, чего волками уставились? Али мало?

Должно быть, мало показалось. Снова ватагой на пришлеца кинулись. На этот раз Илья и булавой не махал. Первому подскочившему так сплеча в ухо отпустил, что тот опять: и сам упал, и остальных повалил. Закопошились разбойнички, знать, поняли, не на того напали. Илья на атамана глянул.

– Ну так что, добром пойдешь, али как? А про слово заветное и думать забудь. Враз достану. – И булавой показал, как достанет.

Поднялся атаман.

– Не так хотелось свидеться, не так и расстаться. Что ж, нонче твоя взяла, а завтра – поглядим. В долгу я у тебя остался. Прощай пока, ненадолго...

Руки вскинул над головой, присел чуток, подпрыгнул – вот уже и нет его. Взмахнул крыльями ворон черный, прочь подался. И нет у Ильи ничего, чтоб достать перевертыша. Крякнул с досады. А тот далече не улетел. Сел на сук, сидит, смотрит, что дальше будет.

Махнул на него Илья рукой, к разбойничкам повернулся.

– Слыхали, что сказано было? К народу, на суд отведу. Али непонятливые?

Хотел еще что-то добавить, а тут голос раздался.

– Погодь, Илья, на суд вести. Может, по-иному поговоримся...

Повернулся Илья в ту сторону, а там... Понятно, кто там. Хозяин объявился. Смурной весь, на пень замшелый похожий.

– Слыхал я, – говорит, – о чем речи велись. Потому, предложение есть. Сам видал, какой лес у меня – дремучий да запущенный. За всем не уследишь, да и рук мало. Не ведаю их на суд, мне отдай. Работниками у меня послужат, пока век их не придет.

Молчит Илья, соображает. Оно, конечно, разбойники, но с другой стороны, как же: вот так запросто в неволю отдать?

А хозяин ровно читает, что внутри у Ильи творится.

– Думаешь, сокровища свои они лаской да уговорами добывали? А на суде за такое, сам знаешь, что народ приговорит... Молодого, вон того, что отдельно стоит, с собой забирай, отдаю, нет на нем вины тяжкой. И еще денег дам, на кузню и мельницу. Чистых денег. То золото-серебро, что у сельчан твоих отняли, – кровь на нем, оттого и цвет подобающий имеет. Его себе оставлю.

– А с атаманом как быть? – Илья спрашивает.

– Сам свою долю выбрал, в ворона переметнулся. Пушай вороном до веку и летает.

Думает Илья, молчит.

– В гостях, Илья, воля не своя. Слово мое сказано, и другого не будет. Не желаешь уговор держать, как знаешь. Недосуг мне с тобой.

– Сам сказал, не своя воля, – буркнул Илья. – Считаю, сговорились.

– Там, на телеге, мешок с гривнами. Дорогу сам найдешь. Недалеко тут. Коли ума хватит...

Сказал, и исчез. И разбойники пропали, и ворон. Один молодой остался.

– Чего встал? – Илья ему. – Иди, запрягай лошадей. На дорогу выберемся, а там уж и поглядим, что да как.

Поосмотрелся, нет ли чего, тоже к телегам направился. Запрягли. Илья мешок достал, развязал, достал несколько гривен, на руке взвесил – полновесны ли, не обманул ли хозяин. Знал, что не обманет, а для порядку надобно.

– На первую садись, – сказал разбойнику. – Бери вожжи, правь. Я за тобой править стану. Дорогу-то знаешь?

– Откуда ж мне знать? – угрюмо отвечал тот. Он прежде, пока запрягали, слова не вымолвил. Так и молчал с той поры, как Илья на становище вышел. – Нас атаман вел. Перед ним и деревья расступались.

– Так уж и расступались? – не поверил Илья.

– А вот так и расступались. Сам гляди. Куда здесь подаваться?

Это он верно сказал. Деревья не то чтобы одно возле другого растут, но и не так, чтобы телеге свободно пройти. Глаза поднял, нет ли вежи поблизости? Нету. Знать, самим выбираться придется.

– Тебя звать-то как?

– Просом.

– Это что ж за имя-то такое странное? Али прозвище?

– Уж какое есть.

– Со мной пойдешь, или улепетнуть думаешь?

– Там видно будет.

– Ну, добро. Тогда так сделаем. Я впереди пойду, что да как смотреть, чистить, где надобно. А как знак подам – ко мне езжай. Понял?

Просто не ответил. Кивнул, и взгромоздился на телегу, подобрав вожжи.

Сколько помнил Илья, от той поляны, что возле дороги, до становища разбойничьего, недалеко было. Оно, хоть морок и сбивал с толку, а помнилось ясно. И хозяин то же сказал. Только до вечера, как ни бились, – Просо помогал и стволы в сторону оттаскивать, и пни корчевать, – не вышли к дороге. Развели костер, повечеряли, чем довелось, уговорились, как стражу ночную держать будут.

Илье первому спать выпало. Растянулся под деревом, булава в правой руке, левая – под голову. Даже и не подумалось: разбойник ведь рядом, мешок с гривнами... Мало ли, что в голову придти может?.. А почему не подумалось? Потому – пока к дороге пробивались, приглядывался он к парню. Работящий, понятливый, незлобивый – что ж за тропинка его к людям лихим завела? Хотел было напрямки спросить – не случилось; да и не больно-то он разговорчив оказался.

И снова: то ли сон, то ли явь. Вон он, Просо-то, у огня сидит, наклонил голову, думает о своем, иногда ветку возьмет, пошевелит. И не видит, как мимо него, прямо к Илья, девка давешняя идет. Как и прежде – улыбается, а глаза невеселые.

– Что, богатырь, – спрашивает, – помогла я тебе? Сдержала слово? Настал твой черед слово держать.

Правду сказать, об этом Илья уже как-то и подзабыл.

– Ну, чего тебе? – буркнул. – Я от своего слова не отпираюсь. Чего они там у тебя забрали? Только имей в виду, если побрякушки какие из-под заговора с кровью добывать надобно, это не по мне. Я тебе другие куплю, лучше прежних будут. Какие скажешь, такие и куплю.

– Да что ты, Илья, какие побрякушки? Не нужно мне никакого золота-серебра. Не мое это. О товарище твою речь шла...

– О каком-то товарище? – Илья и понял-то не сразу, а как понял, разом вскочил, ажно задохнулся. – Да ты... Да ты как... Чтобы я, живого человека...

– Говорила я тебе: свое вернуть. Али забыл?

– Какой он тебе свой? Уморить задумала? И думать забудь!..

– Слово нерушимое тобой дадено было, Илья.

– Обманом то слово выманено, нет ему силы. Прочь ступай. Еще раз повторяю: и думать забудь. Не бывать такому, чтобы человек человека... этакой-то отдал.

– Есть ли сила, нет ли, – не тебе судить. Прочь гонишь? Что ж, будь по-твоему. Только смотри, Илья, как бы обратно звать не пришлось. Не выйти тебе из леса, покуда слово свое не исполнишь.

Повернувшись, и пошла себе. Только ленточка цветная в косе русой мелькнула.

А Илья проснулся. Поворочался немного, снова заснуть попытался – да какой уж тут сон! Поднялся, к костру подошел, присел с другой стороны, напротив Проса, на огонь уставился. Вот ведь незадача какая вышла. Что ж теперь, до веку по лесу этому блуждать? Сказала ведь – не выпустит. Но и отдать то, что просит – не по-людски это.

Сидит Илья, то на костер посмотрит, то, сам того не замечая, на Проса. Тот же по-своему понял.

– Что, не спится? – усмехнулся. – Да ты не бойся, я ж *слово дал*, пока на дорогу не выйдем, не утекну.

Что ж ты, окаянный, по-иному сказать не мог? Слово он дал. Что мне из твоего слова – щи варить?

– Ты как в разбойниках-то оказался? – спросил.

– От доли лучшей бежал, – усмехнулся тот. – Что, не веришь? И правильно делаешь. От добра – добра не ищут. В городе я обретался, у кузнеца в подмастерьях... («У кузнеца!.. Ах же ты, хозяин, хозяин!») Он меня, казалось, против прочих отличал, едва не вместо сына держал. Дочь обещал, что минет время – вместе работать будем... А как посватался один, из именитых, так он разом все и позабыл. И дочь ему отдал, и... В общем, подпустил я ему красного петуха, да и подался, куда глаза глядят.

– Пригожая, девка-то? – спросил Илья, не зная, что еще сказать. – Звали-то как?

– Не то слово... Заряной звали.

– Красивое имя...

– А ты чего за разбойниками погнался? Слыхал я, золото-серебро они у сельчан твоих отняли?..

Чего ж таиться? Рассказал ему Илья, как дело было. Про жизнь их нехитрую, про кузню, про мельницу. Про хозяина, однако ж, не стал; про хворость свою былую, и про странников тоже умолчал. Слово за слово, и Просо разговорился. Так и проболтали почти до света, не хуже баб. Угомонились потом, да оба разом и заснули.

Проснулись поздно, и снова, как накануне, валежины растаскивать, пни отбрасывать, шаг за шагом к дороге пробиваться. А ее все нет и нет. Сколько раз Илья Просо вперед посылал, посмотреть, правильно ли идут, столько раз тот ни с чем возвращался. Вроде и не заблудились, а вроде кажется, будто по кругу ходят, а те помехи, что в стороны пораскидали, на прежних местах оказываются. Удивляется Просо, по лицу видно, однако ж помалкивает. Илью же за живое взяло. Упрямство природное выиграло. Надо будет – весь лес повыкорчую, а живого человека на поругание не отдам.

День прошел, другой. Они уж и кричать начали, только все без толку. Кабанчик, что Илья завалил, кончился. А на одних корнях долго не протянешь. Потемнело лицо Ильи, знает, в чем причина, однако ж молчит. На авось надеется. И пронадеялся...

Он тогда с телегами остался, а Просо опять вперед пошел, дорогу искать. Слышит Илья, кричит что-то, даже вроде как радостное. Шумнул в ответ, ждет: неужто повезло наконец? Спешит назад Просо, слышно, как кусты трещат. Явился – не запылится, лицо сияет, ровно блин намащенный.

– Ну, что там, рассказывай? – приступил к нему Илья. – Никак дорога?

– Нет, дороги нету, зато вот, – и ленточку цветную протягивает. – На ветке нашел. Знать, люди неподалеку где-то...

Глянул Илья на ленточку, разом все в груди оборвалось. Присел на телегу. Вот тебе и уберег. Нет, чтоб мимо проскочить, ну висит себе, и пускай висит... Понимает, что к одному шло, а все одно беспокойно.

– Ты чего, Илья? – Просо удивляется. – Аль приболел?

Махнул Илья рукой, не знает, как и сказать. Тут-то и послышалось из лесу: зовет кто-то. Не оттуда, откуда Просо шел, а маленько в сторону. И голос – будто девичий. Илья рот раскрыть не успел, спохватился молодой – и в лес, на голос подался. Пошумел немного, и тишина наступила. Ну что, Илья, вот оно и закончилось, блуждание твое. Теперь до дороги – в какую хошь сторону иди, не заплутаешь. Жалко парня, конечно... Ладно, не век же тут сидеть да печалиться. Вон он, прогал промеж деревьев виднеется, туда и правь.

Пришелкнул вожжами, тронулась лошадь, заскрипела телега. Несподручно одному, с двумя телегами-то, да это ничто; скоро на дорогу выберусь, там попроще станет.

Не успел и десяти шагов проехать, раздались кусты впереди, Просо выходит. Сияет, что солнце полуденное. И девку на руках держит. К себе так прижимает – будь здесь хоть сто богатырей, не оторвут. Живой... А девка – вроде как та самая, а вроде как и нет. Сарафанчик обтерханный, сама растрёпанная, и видно, что... ну, в теле, что ли...

– Не поверишь, Илья, – Просо разве что на весь лес не вопит, – вот она, лада моя ненаглядная, краса неописанная, Зарянушка... Ослушалась наказа батюшкиного, не пошла за немилого, убежала. Столько времени бродила, меня искала!.. Нашла...

А девка приникла к груди его, обвила руками шею, искоса на Илью посматривает: не выдаст ли?.. А тому что делать?

– Заживем теперь, – не остановить Просо, слова из него, что зерна из-под цепа вылетают, – отработаю людям, коли зло какое причинил. Верой-правдой отслужу. Вези нас, Илья, в деревеньку свою. Сам увидишь, не из последних мастеров у вас кузнец будет!.. Честно скажу, сомневался я, стоит ли предложение твое принимать, что ты давеча высказал, вижу – судьба вмешалась, весточку подала!.. Да, дорога тут вот, шагах в десяти. И счищать ничего не надо, так пройдем. Даже и непонятно, чего это плутали столько. Мы пока на вторую телегу присядем, за тобой править будем...

Прошли они мимо, и показалось Илье, будто голос услышал:

«Здравствуй, Илья Иванович!.. Ты уж не кори меня за то, что так вышло. А только знай: каждому счастья хочется, хотя немножечко, хотя глоточек маленький... Запомни это – каждому...»

Об нем и вправду речь шла, чтобы кузнецом поработал, а вот о тебе, красавица... Ладно, на дорогу выберемся, открою глаза Просу, пусть сам решает.

Бывает, выдастся день такой, что самое верное дело – и то наперекосяк делается. За что ни возмись – лучше и не браться. Вот и у Ильи нонче: что ни задумает, все не по его задумке выходит. Уж и до поля своего по дороге добрались, а Илья все никак с духом не соберется. Одно дело – разбойником укорот дать, а другое... Хорошо, Велеслава повстречалась. Глянула, поздоровалась со всеми, рядышком с Ильей пошла – не стала на телегу садиться. Кому ж и рассказать все, как не ей? Ничего не утаил.

– Ох, Илья, Илья, – вздохнула. – Ты коня своего богатырского да одежду ратную здесь оставь. Положи вон под куст, никто не возьмет, не приметит даже. Потому как не удержишься ты у нас. Иное тебе, видно, на роду написано. А за кузнецом с женою его – пригляжу. Ты не думай, ничего такого не случится. Недолго ей и быть-то. Две-три весны – и сгорит, что лучинка... Правду она тебе сказала: «каждому счастья хочется, хотя немножечко, хотя глоточек маленький...» Куда уж меньше... Как в деревню придем, ты вот что людям скажи...

4. А высокие-ты горы Сорочинские...

Вот говаривают люди: сорока на хвосте принесла... Это когда не ведают, откуда что взялось. Так и Илья: не успели телеги из лесу выехать, а народ уж едва не навстречу бежит. Оно, конечно, ничего тут мудреного нету. Резвились себе ребятишки чьи-то в лесу, слышали, едет кто-то, глянули – и быстрее в деревню. Их, когда случится, вершник не догонит, так бегут. Только про сороку оно как-то вроде и красивше выходит, и правдоподобнее.

Хотя птица, надо сказать, так себе. Тараторить горазда, иная баба позавидует. А уж как охотники ее не любят ее – каждый знает. Иные, в лес зайдя, коли завидят, тут же назад поворачивают – не будет добычи. Эта стрекоталка все поближе держаться норовит, да треском своим все зверье на версту окрест предупреждает, кто идет. Не любят, однако ж и не трогают, потому – поверье существует: если хвороба скорая страшная минует, то уж со счастьем навек распрощаешься, ни в одном деле проку не будет.

Только не на сорок голосистых сельчане собравшиеся похожи, скорее – на галок. Обступили, спрашивают, а сами слова сказать не дают. Насилу уговорились. Поведал им Илья, как с Велеславой уговорено было. Разбойников поискать пришлось, следы-то поистерлись, а вот биться с ними и не пришлось совсем. Сами друг дружку порешили, как золото-серебро отнятое промеж себя делить начали. Не стал он его брать – там, на месте, и закопал. И разбойников тоже. Мешок с гривнами промеж них лежал, его и привез – кузню с мельницей обустроить. Людей вот спасти довелось; схватили их разбойники, живота лишиться собирались, да сами и... Нашел их, к дереву привязанными, совсем уже спастись отчаялись. На счастье, кузнецом оказался, Просом кличут, а жену его – Заряной. Не здешние они, из дальних мест пришли. Почему – про то разговора не было. Чего уж тут разговаривать, когда полено к полону складывается? Обещались за спасение отработать, миру на пользу, а там, глядишь, и насовсем останутся, коли приживутся. Велеславе спасибо, приютит на время.

Врет Илья, и не краснеет. Как по писаному рассказ ведет. Оно и понятно: правду скажи, никто не поверит, больно как-то мудрено все. А соври по-простому, любой скажет: чему ж тут и удивляться-то, что все так приключилось? Бывает, дело житейское. Сегодня одному повезло, завтра – другому. Велеслава – она плохому не научит. Илье-то невдомек, а травница примечать стала, неровно в сторону его сельчане глядят. Девки – хоть сейчас замуж. Жених – на зависть. Только в силу вошел, в семье да хозяйстве за ним – как за каменной стеной (говорят, есть такие, в странах заморских, которые города свои стенами каменными огораживают, не деревянными). Род его всем известен, не пришлец какой. В общем, всем взял. Оттого и норовят поближе подобраться, ручкой-плечиком коснуться, глазками интерес показать. Но то – девки. А парням каково? Кто промеж них с Ильей сравниться может? Не успел с печи слезть, а уж дел вон каких наворотил, другому столько за век не под силу. Правду сказать, хорошо оно, конечно, что односельчанин, только спровадить бы его куда, счастья поискать. Вот как найдет – милости просим, а дотоле – ни-ни...

Большинство все же рады: были разбойнички, и все вышли, опять дорога свободной да безопасной стала. От золота-серебра избавились, деньгами разжились. Надо места выбирать, где кузню ставить, где мельницу. Опять же, кузнеца искать не надобно, сам подвернулся. Пуще же прочих те радовались, которым Илья телеги с лошадьми вернул. Никто и не заметил, что он с жеребенком уходил, а вернулся без. И то сказать – до жеребенка ли?

Это Иван спросил, когда позади избы присели, перед тем как ночевать. Куда, мол, животины подевалась? Без утайки рассказал все Илья, как на самом деле было. Или почти так. Про Проса с Заряной как прежде оставил, очень уж крепко ему слова про счастье в сердце запали.

Слушал Иван, не перебивая. Один раз только вроде как сказать чего хотел, слышав «зеленоглазая». Сдержался. До конца выслушал, потом промолвил:

– Правду говорят люди: отродясь такого никто не слыхивал, чтобы столько чудесного враз приключилось. И все вокруг тебя...

Счел Илья момент подходящим, да и говорит:

– Ты, батюшка, не кори, коли не то скажу. Только думается – не по мне хозяйство вести, не по мне и землю ухаживать. Для иного рожден. Не просто так приходили люди хожалые, не просто так разговоры вели. И песня Боянова – неспроста она. В Киев зовет, в дружину богатырскую. Встать на пути диких, что деревни разоряют, поля выжигают, людей побивают али неволят. Не будет мне здесь жизни спокойной, ежели против судьбы пойду. Благослови, батюшка...

– Ишь, чего удумал, – поднялся Иван. – А о нас с матерью ты подумал? Кто нас в старости приветит? А она уж не за горами, чай... Спать пошли.

Распахнул дверь – в избу. Не оглянулся.

Посидел Илья еще немного, вздохнул горько, и тоже спать отправился.

Наутро, правда, с теми же словами к отцу приступил, но тот и слушать не стал. Хозяйством, мол, заниматься надобно. А Илья мается; почудилось ему, сказать отец что-то хотел, да раздумал. Вечерком опять присели, на крыльце.

– Сон мне нынче привиделся, – нарушил молчание Иван. – Будто приходит ко мне старец какой-то, и говорит: «Так уж на роду вам написано: не быть дитю вашему кормильцем, ездить ему по полю по чистому»...

В сторону от Ильи глядит. Не все сказал.

– Благословения ты у меня давеча спрашивал? Что ж, вот тебе мое благословение. Коли и впрямь ты решился за обиды людские стоять, добро, не препятствую. Наказ же мой к тебе таков будет, и в том, что следовать ему будешь, ты мне слово дашь. Не лей крови понапрасну, не погуби того, кто пощады просит. Отнимешь жизнь – не вернешь. На добро – добром отвечай, на зло – справедливостью. Как бы ни был виновен виноватый, гневу воли не давай. Сам не можешь рассудить, людей спроси, кто постарше да помудрее. Ну, а об остальном нужды говорить нету. Сердца слушай, подскажет, что да как... Одно не пойму – как ты князю покажешься? Ты ведь и оружием не владеешь, и слово за тебя замолвить некому?.. Оно понятно, коли глянешься – всему обучат, только глянуться-то как? В дружину всякого встречного-поперечного не берут, должно быть. Тут помимо силушки, еще что-нибудь надобно. Место-то хлебное. Всем ведомо, как князя за службу верную награждают...

– От наказа твоего, батюшка, не отступлю, – твердо произнес Илья, – в том слово мое крепкое. Что оружием не владею – так ведь я не к князю сперва. Сказано было – со Святогором прежде повидаться. А дальше – там видно будет.

– Где ж ты его искать будешь?

– Сказано было, на горах Сорочинских он. Только где они – на восходе ли, на закате – про то не знаю.

– Да и я не слыхивал...

Помолчали.

– Когда ехать думаешь? – спросил Иван.

– Завтра, с петухами... – потом прибавил: – Про то, чтобы я за ворота – и след простыл, даже и думать не смейте. Пока жив, помнить про вас буду, как улучу время – понаеду. А коли доведется, чтобы самому место службы выбирать, попрошусь на заставу, какая к деревеньке нашей поближе.

– Ты, коли за всех людей встать решил, об том и думай. Не ровен час, вспомнишь про нас с матерью в сече лютой, что одни мы останемся, что некому старость нашу приветить будет, себя уберечь захочешь; дрогнет рука, дрогнет и сердце. Врагам на радость, самому на погибель. Не на отшибе живем, посреди людей. В беде не оставят.

Лучше б он этого не говорил. Сразу как-то и вспомнилось, как жили, когда он, Илья, без ног был. Нельзя сказать, чтобы совсем бросили, однако и помогали не очень-то. Свои заботы у каждого.

По-иному теперь и желание его выглядит. Дуростью несусветной. В возраст вошел, а умом не выдался. Добро бы, не один он в семье был. Хоть брат, хоть сестра – уже попроще. Случись что – к себе жить взяли бы, или сами тут жили. К князю, опять-таки, как сунешься? Что скажешь? В дружину хочешь? Там таких, небось, по десятку в день заявляется, а то и поболее. Силушки не занимать? Только и заслуг? Кто ты таков, чтобы тебя – да в дружину? А коли рассказать, сколько на печи без ног просидел-пролежал, на смех поднимут.

Вот ведь окаянство какое – нет, чтобы подумать да рассудить хорошенько, вместо того – «благослови, батюшка... в Киев, в дружину... за обиды людские...» Звали тебя очень, никак без тебя не обойдутся, каждый день гонцов присылают, ждут – не дождутся, со стен высоких высматривают – уж не едет ли...

То ли спал, то ли не спал в ту ночь, так и не понял. Встал, как обещал, с петухами, вышел на двор осторожно, – во многом прощании многая скорбь, – поклонился до земли, лицом к крыльцу оборотясь, и подался к тому месту, где коня с оружием-доспехом оставил. Как со двора шел, не оглядывался, знал – смотрят ему вослед родители через окошко, не хотел глазами с ними встречаться. Внутри словно барсук нору обустроивал, так драло, что хоть вой. А еще боялся, – обернется, так и останется; бросится в ноги с повинной. Простят его, конечно, только выйдет – язык у него, что помело. Вдобавок не к уму – так, умишке. И тот еще поискать.

Доспех-оружие где сложил, там и лежали. Конь пофыркивал, головой тряс, с ноги на ногу переступал – будто чуял, вот-вот в дорогу дальнюю, к неведомым горам Сорочинским. Надел Илья доспех, как смог, лужа на дороге была – в лужу глянулся, каково выглядит. Не очень как-то, не по-богатырски. Тут ведь надеть мало, тут еще и привычку носить иметь надобно. А откуда ж ей взяться-то? На ногах – сапоги красные, а лапоточки в суму переметную спрятал, авось, пригодятся. Щит, кожей алой обтянутый, за спину перекинул. Лук в сагайдаке, колчан со стрелами, меч с копьем, все на седле оставил. Булаву – в руку правую. Едва на деревеньку не обернулся, ровно под ребра кто толкает. Нельзя сейчас оборачиваться, нет в нем твердости нужной, чтобы ехать. Положил левую руку на луку седельную, левую ногу – в стремя, вот уже и в седле. Тронул поводья. Пригнулся к конской холке.

– Ну что ж, товарищ мой верный, пора нам. Живы будем – вернемся. Вези, куда сам знаешь...

Не успел сказать, преобразился конь. Допрежь того смирный был по виду, хоть и чувствовалась в нем сила, не менее, чем у самого Ильи. Со стороны глянуть, будто расправился, крылья распустил, из глаз огонь пышет, из ноздрей и ушей дым валит. Шаг сделал другой, ровно примериваясь; побыстрее пошел, прискакивать начал, сначала легонько, потом вполсилы, а уж потом... Держись, Илья Иванович!..

Легко сказать, держись... Откуда ж ему уменью вершному обучиться было? Поначалу, едва ходить начал, отец его на лошадь сажал да по двору катал. Присматривал да придерживал. Поначалу страшно было: и тебе высоко, и грива из пальцев ускользывает, и сидеть неудобно. Шагом лошадь идет, а все равно сидеть потом неудобно как-то, на лавке там, али на крыльце. Еще когда сено возили, тоже на лошади сидел. В основном, правду сказать, поверх сена сидел. Один раз даже, помнится, налетело колесо на камень, хрястнула ось, воз и завалился на бок; отец тогда сверх меры нагрузил. Ну, и за дорогой не очень смотрел. Крепко тогда Илья об землю шлепнулся. А главное – быстро, ни испугаться не успел, ни понять, что да отчего. Нос расквасил. В ночном еще, когда лошадей на берег сводили, тоже верхами сиживал. Но это как бы не в счет, потому – спутаны у лошади передние ноги, не может вскачь пуститься.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.